

ИСКАТЕЛЬ

ФАНТАСТИКА · ПРИКЛЮЧЕНИЯ

1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА
1985





ИСКАТЕЛЬ

1

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ



ВОКРУГ



СВЕТА

1985

В ВЫПУСКЕ:

- 2 Владимир ЩЕРБАКОВ**
ЛЕТУЧИЕ ЗАРНИЦЫ
Повесть
- 99 Дмитрий БИЛЕНКИН**
ВРЕМЯ СМЕНЯЮЩИХСЯ ЛИЦ
Фантастический рассказ
- 106 Александр ПЛОНСКИЙ**
ПОСЛЕДНИЙ ТЕСТ
ВРЕМЯ БЕССМЕРТИЯ
Фантастические рассказы
- 116 Эрл Стенли ГАРДНЕР**
РАССЕРЖЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
Рассказ

ОСНОВАН В 1961 ГОДУ

№ 145

Выходит 6 раз в год. Распространяется только в розницу.

© «Искатель», 1985 г.



Владимир Щербаков
**летучие
зарницы**

Повесть

*Светлой памяти капитана
Николая Щербакова,
погибшего в боях за Родину*

ПОД ВЯЗЬМОЙ

Лес. Лес. Просека. Едва заметная, старая колея. Снова лес: под ногами осенние листья, желуди, шмыгнула юркая мышь в нору... День. Два. Три... Потом появился капитан. Никто не задал ему ни одного вопроса. Мы слишком устали. Он тоже молчал. Удивительное его спокойствие злило меня. Даже когда гудели над головой «юнкерсы», он не ложился на землю, а прислонялся спиной к дереву и следил за ними. И снова бездорожье, тишина... По имени я знал троих-четверых из тех, кто оказался в этом светлом грибном лесу под

Вязьмой. По утрам, когда я просыпался, капитан был уже на ногах. Однажды я видел, как он умывался, наклоняясь над студеным ручьем с темной водой, с ивами над ней и ридниной тумана под блеклым солнечным лучом.

Помню, как валились на мокрую землю, как, пролежав часа два-три в полудреме, мы поднимались и шли. Я действовал как автомат, на шинели не было сухого места, ноги болели, и я тысячу раз проклинал себя за неумение обращаться с портянками. Но сесть и перемотать их было выше моих сил. На очередном привале я падал как подкошенный, лежал, сжимаясь в комок, а в зажмуренных глазах цветные миражи: то излучина Клязьмы, то пруд в Царицыне, куда мы ездили до войны купаться, то прихотливые извивы речки Серебрянки. Жалкое состояние, которое не изменить никакими силами... Часы и дни проходили бесполезно.

Я брел, спотыкаясь на кочках, цепляя ногами ленты аира по окраинам болот, глина налипала на мои сапоги, и я едва ворочал ногами. И снова это тягостное ощущение бездействия. И капитан, который вел нас теперь, наверняка не знал, как оно все обернется, хотя не подавал виду, разумеется. У берега деревенского пруда я увидел раз свое отражение: худое, угловатое лицо, тонкая шея, волосы, упавшие на лоб. Глаза казались темными оттого, что зрачки мои расширились, и я пристально, с каким-то болезненным вниманием присматривался к этому человеку, глядевшему на меня снизу. Немцы в деревню не заходили. Нашелся сарай с сеном, где мы переночевали, нашлась и краяха хлеба.

Рано утром, едва проснувшись от холода, я увидел капитана с пистолетом в руке у прикрытой больше чем наполовину двери сарая. Еще не понимая, в чем дело, я окликнул его:

— Капитан!

— Тихо! — отозвался он, не поворачивая головы. — И скажи нашим, чтоб не голосили!

Я встал с охапки сена, подошел к нему и увидел немцев. Они уже миновали дом, во дворе которого находился наш сарай. Трое, четверо, еще пятеро, еще трое... их было человек тридцать. Они обогнули следующий дом, еще один. Последний из немцев, высокий брюнет с бачками, остановился и огляделся. Потом и он скрылся из виду.

За дверным проемом виднелась изгородь, деревенская улица. Как будто и не было здесь немцев. Точно мимолетный сон.

— Впервые видишь их? — спросил капитан.

— Да, впервые, — сознался я. — Скрываемся, как воры, на задворках нашей же деревни, а они идут как хозяева.

— Разбуди ребят, только без шума! — приказал капитан.

Я стал расталкивать наших: Витю Скорикова, Станислава Мешко; Ходжиакбара, Толю и еще двух-трех ребят, имен которых узнать не успел. Кто-то прошел в дом с заднего крыльца, принес ведро воды, горячий чайник и котелок холодной вареной картошки. Соли не было. Жевали картошку, запивали кипятком. У капитана ходили желваки на скулах, и я впервые обратил внимание, какая жилистая у него шея, какие ловкие руки. Был он похож на исхудавшего атлета, но вряд ли кто-нибудь отважился бы с ним сойтись врукопашную и сейчас: после многодневных лишений он все же был самым сильным из нас. Именно он был на посту и

утром и вечером. «Не доверяет он нам, что ли?» — думал я. (Потом стала открываться истина.) Сейчас капитан нес на своих плечах груз вины за происшедшее. Позже я понял, что он не привык перекладывать ответственность на других. Кто, как не он, капитан Ивнев, кадровый офицер, виноват во всем? И если, кроме него, были другие, тем хуже.

А другие были. Станислав Мешко, лейтенант, участвовал в обороне Киева. Что там было, мы знали тогда лишь приблизительно. Теперь Мешко попал в окружение на центральном участке фронта...

Хмурый, молчаливый, ростом еще выше капитана, он тем не менее ничем другим не выделялся и во всем слушался старшего по званию.

Вот и теперь он старательно собрал картофельную кожуру, крошки, отнес обратно в дом чайник и присел на корточки, скручивая сигарку и поглядывая на капитана: какой будет приказ?

Ивнев сказал тихо, только для Мешко:

— Слава, пройди до того леса и посмотри, нет ли их там. Мы скоро должны туда перебраться. Пойдешь дальней околицей, чтобы тебя не заметили немцы. Вон лощина, видишь?

— Вижу, — сказал Мешко. — Доберусь.

Было уже совсем светло. Блеклые краски осени проступили повсюду. С пригорка, где был наш сарай, открывался вид на перелесок за домами и на лощину с палевой травой, с темным ручьем, вдоль которого пробирался Мешко. Иногда он замирал, и тогда его нелегко было отыскать глазу. Попробуй разбери: кочка это у ручья или Мешко?

— Разведчик! — похвалил его капитан вслух. Он так же, как и на рассвете, стоял у двери сарая, и опять я подумал, что он круглосуточно на посту.

— Почему ты Мешко послал, а не меня? — спросил я капитана.

— Мал еще, — добродушно огрызнулся он.

(И, как ни странно, именно такие вот грубоватые замечания капитана позволили мне раскрыть еще одно свойство Ивнева. Сколько бы ни подтрунивал он надо мной, Витей Скориковым и другими, сколько бы ни придирался к нам иногда, но рано или поздно любой бы на нашем месте догадался: он нас жалел. Жалость эту мы понять и оценить не могли потому, что на поверхность всегда выходила ее половина, худшая для нас: военными, солдатами Ивнев нас не считал. До поры до времени он даже не интересовался нашим прошлым. Да и какое прошлое может быть у мальчишек, ставших на время солдатами, потом попавших в окружение и снова ставших мальчишками!)

— На, пожуй лучше! — сказал капитан, удостоив меня взглядом и протягивая мне вареную картошку, сбереженную от завтрака.

— Ешь сам, капитан.

— Как хочешь, я человек не гордый! — И капитан стал как-то по-особому бережно есть картофелину, я искоса наблюдал за ним. У него были серые, большие, серьезные глаза с прищуром и поднятые вверх опаленные брови. «Наверное, пришлось ему побывать под бомбами или под обстрелом», — подумал я.

Через несколько минут вернулся Мешко, доложил вполголоса:

— Задание выполнено. Немцев в перелеске нет. Лощиной пройти можно.

— Пошли все! — коротко сказал капитан. — Слава, ты идешь первым, я — замыкающим. Живее!

Мы шли теперь лощиной, из которой сначала еще были видны крайние дома деревни, а когда мы прошли с полкилометра, горизонт замкнулся слева и справа, скрытый полем и перелеском. Теперь мы распрямились в рост. Мешко шел быстро, споро, не останавливаясь, не оглядываясь, и мы иногда пускались за ним трусой, чтобы не отстать.

Капитан был последним, он отстал словно для того, чтобы видеть нас немного со стороны, издали.

— Артиллерия всегда отстает! — сказал шедший за мной Витя Скориков.

Я позавидовал его длинным ногам: у него осталось желание шутить в этом марш-броске почти на виду у немцев. Я шел за коренастым Ходжаибаром шаг в шаг. Видел теперь я только его спину, и у меня не осталось скоро никакого желания видеть что-нибудь еще, кроме этой спины.

Вот и перелесок. Снова под ногами опавшие листья, снова мы стали лесными бродягами. Теперь, если повезет, отогреемся в следующей деревне.

Я вспомнил, как неприветливо встретила нас хозяйка дома в той деревне, откуда мы ушли. Или мне это показалось? Теперь я должен был доверять личному опыту и заново открывать для себя многое. Где офицеры моей роты и батальона? Одни убиты, другие получили приказ уходить с бойцами мелкими группами. А выводит меня из окружения артиллерист.

— Слушай, Валь! — крикнул Скориков. — А ведь немцы не смогут все деревни занять. У них людей не хватит!

— Не знаю, Витя, хватит или нет.

— Жаль, что грибов больше не попадаетесь! — заметил оп.

«Иди, товарищ Скориков... Хорошее у тебя настроение, — подумал я со злостью, — хорошо, если не все деревни немцы займут, и совсем хорошо, если грибы будут попадаться».

Когда из-под куста вылетела большая серая птица, пронзив подлесок в низком шальном полете, мы шархнулись от нее и попадали на землю — и Ходжаибар, и Скориков, и я.

— Хорошо в лесу, да боязно! — съязвил я.

Скориков промолчал.

...В тот солнечный день я бы ни за что не угадал, что уже через пять дней, шестнадцатого октября, выпадет снег. Солнце без труда пробивало поредевшую, пожухлую листву, и мы могли ориентироваться без компаса. В полдень пролетела на восток шестерка «мессершмиттов». Через час стали попадаться разбросанные над лесом листовки. «Храбрые русские солдаты, вы окружены!» — так начиналась листовка, попавшая мне в руки.

— Брось эту дрянь, — сказал капитан. Он выхватил резким, почти незаметным движением листок бумаги из моих рук и порвал его в клочки. Я не стал с ним спорить. Единственный вывод, к которому я пришел после немецкой листовки, был неутешительным: из-за окруженного полка немцы не стали бы печатать листовки. Быть может, окружена дивизия, а то и не одна, быть может... Страшно было думать об этом.

Мы втянулись постепенно в настоящий вековой бор, которому не было, казалось, ни конца ни краю. Сосны отсвечивали бронзой, стволы их были теплыми, если прижаться к ним на минуту плечом... Был привал, но мы почти не говорили, хотя нас в этой глуши никто бы все равно не услышал. Когда солнце скрылось, нарубили лапника, устроили что-то вроде шалаша. Но не спалося на голодный желудок. Тот котелок картошки, который дала хозяйка, вспомнился нам не один раз. Потом я уснул, как будто провалился в пропасть, и к исходу ночи опять проснулся от холода и уже не мог спать. Сжав коченеющее тело руками, я лежал с открытыми глазами и наблюдал в просвет лапника, как плавали серые кочующие облака, открывая временами холодное темно-синее небо.

Утро двенадцатого октября сорок первого года...

Тяжелый день. Поблизости нет воды. Мешко вернулся с пустым котелком. Делать нечего, бредем через лес, прислушиваясь к каждому шороху. Нервы напряжены, только Ивнев идет как ни в чем не бывало, как будто он действительно знает, куда надо идти.

Лес, лес, поляна с палевыми кустами, с зеленой еще лесной травой, с черной птицей в небе над головой. В этот день я впервые задумался о смысле и цели дальнейшего существования. Вот как это случилось.

Мы вышли на пригорок и остановились: другой склон его круто обрывался вниз. Подошли к обрыву и вниз, под ногами нашими, увидели шоссе. Серая лента его жила странной жизнью. По нему ползли танки с крестами на броне, тянулись машины, неторопливо шли тягачи с орудиями на прицепе. Шум едва достигал наших ушей, так было высоко, но увиденное осталось в памяти, и потом, много дней спустя, я еще будто воочию видел эту механическую лавину.

Мы стояли и смотрели как замороженные на это шествие нечистой силы. Ощущение полного бессилия овладело мной. Что можно противопоставить этой стальной армаде? И зачем вообще мы идем, а главное — куда? Конечно, капитан сам не знает этого. А раз так, почему мы все еще подчиняемся ему? Разве теперь имеют какое-то значение воинские звания? Да, я думал именно это над обрывом, но, слава богу, у меня достало ума промолчать. Иначе...

Трудно было предугадать действия капитана. Возможно, он снисходительно промолчал бы. Какое ему сейчас дело до меня? Все эти дни я ревниво-внимательно пытался обнаружить следы страха в поступках капитана, разглядеть эти следы в его серо-синих глазах, когда на привалах он присаживался на охапку хвороста и над переносицей его сходились складки. Но я не видел этого страха. Или он так умело скрывал его от нас?

И теперь капитан задумчиво смотрел вместе с нами на тягачи, грузовики и танки, а потом, когда колонна прошла и скрылась за дальним поворотом дороги, дал приказ спускаться. Хочет проверить нас? Провести по следу чудища, чтобы мы перестали его бояться? В самом деле, если есть сила, внушающая страх, то есть и противостоящая ей: вера, убежденность в правоте дела, во имя которого воюешь. Вот о чем я думал, вслед за капитаном спускаясь к дороге, хватаясь за стволы осин.

(«Впрочем, какая мы сила?» — думал я к вечеру. Даже вместе с капитаном мы ничего не стоим против одного-единственного танка из той колонны. Впервые в жизни видел я танки врага, и они казались на шоссе еще страшнее, наверное, чем на поле боя.)

Мы пересекли дорогу. Капитан остановился у обочины и с минуту медлил, пока мы не оказались в лесу по другую сторону дорожного полотна. Когда он убедился, что мы незаметно растворились в чаще, он зашагал следом.

Наконец я решился и спросил его:

— Куда мы идем, капитан?

Ни слова в ответ. Что означало его молчание? Что он надеется вывести нас к своим? Или нет? Не знаю. Анализируя сомнения и тревогу, я забывал о том, что капитан тоже имеет право на сомнения, но он считал себя не вправе показывать это другим. Во имя этих других. Понял я это позже.

Километр. Еще один. Привал у старого картофельного поля, на поляне с полусгоревшим домом. Капитан ушел на разведку, оставив за себя Мешко. Тот присел на трухлявый пенёк, достал нож и стал вырезать из поленца деревянную ложку. Я собрал щепу и разжег костер. Ко мне присоединились Скориков и Ходжаикбар.

...Я услышал голос капитана.

— Кто разжигал костер?

Я ответил.

— Кто вам разрешил?

— Никто не разрешал.

— Вы знаете, что это могло быть причиной гибели людей?

— Теперь знаю, — ответил я, и краска залила мое лицо. — Но я отвечаю, что никто этого заметить не мог.

— Мальчишка! — пророкотал он и отвернулся. Я хотел что-то сказать капитану, но мысль оборвалась, потому что в трехстах метрах от нас на проселке вдруг появились два всадника.

ЗЕМЛЯ ВОЛЬНАЯ

Один из всадников неспешно направился к нам, и было явно слышно, как хрустели и шуршали багряно-желтые листья под копытами коня. Мы приготовили оружие. До всадника оставалось метров пятьдесят. Раздался хриплый, простуженный голос:

— Кто будете? Кто старший?

— Капитан Ивнев! — назвал себя артиллерист и шагнул навстречу.

Всадник остановил коня, поджидая его... Вот о чем-то заговорили.

Капитан махнул рукой, и мы стали по одному подходить к ним. Человек на коне был в черной суконной гимнастерке, ватных брюках и полурасстегнутой телогрейке. Мы называли свои фамилии, и он, оглядывая нас, делал пометки на клочке бумаги.

— Пошли! — скомандовал капитан.

Мы переглянулись. Рядом со мной ополченец Скориков молчит, словно что-то обдумывая, потом говорит:

— Партизанить так партизанить!

— Где немцы? — спрашивает кто-то.

— Везде, — отвечает партизан и называет себя: — Хижняк, начальник разведки.

Он трогает коня, к нему присоединяется другой всадник, назвавшийся Гамовым.

Пауза. Шорох шагов. Огонек самокрутки. Стихающие голоса. Молчание.

Я подумал о партизанском лагере. Захотелось представить, как он выглядит. И как только я вообразил дорогу к нему, землянки, высокую сосну около деревянного сарая, явилась уверенность, что мне доводилось уже видеть их, видеть наяву, а не во сне.

Летело время. Открывались и пропадали извивы колен, а я никак не мог отделаться от возникшего в памяти видения: землянки на краю поляны, сарай со стенами из смолистых бревен, дым, ползший полупрозрачным облаком над его крышей, давно знакомые лица вокруг меня. И сарай был какой-то свой, точно провели мы немало часов у костра, разведенного внутри его, под квадратом, вырубленным в крыше (дым как раз и тянуло в этот квадрат). И уже родилась во мне радость, сродни той, какая приходит, когда возвращаешься домой после долгого отсутствия. Я знал, что никогда не был там, а видение не уходило, память подсказывала: у костра лежит человек в полушубке, под головой у него охапка сена. Раньше других я замечаю, что искры попали на сено — так близко к огню расположился человек. Дымок идет от его полушубка, по селу пробегают первые красные светляки. А он спит! Мы осторожно переносим его к холодной стене. Я зачерпываю корцом воду из бочки, чтобы погасить красные искры в сене... И тут я понял, что знал этот лес, лица, разговор. Точно видел уже однажды все это и потому мог сказать точно, что произойдет в следующий момент. И здесь, на дороге, выбегавшей из леса, как из бесконечной объемной рамы, я чувствовал эту вдруг родившуюся во мне способность, которая в иные минуты подавляла, даже пугала. И лес с его седым гребнем можно было остановить на секунду и рассмотреть как под микроскопом: вот черно-сизая ворона слетала с головы дерева — я уже ждал этого, — и время опять текло мерно, как замерзающая река.

...Смеркалось. Дорога как бы спускалась на морское дно — такой неоглядный простор открывался с холма. У горизонта темная лента леса уже сливалась с небом. Через несколько минут деревья расступились, открыв площадку с землянками. Передо мной вырос большой бревенчатый сарай. Внутри его горел костер, вокруг лежали толстые бревна-скамейки, в углу стояла бочка с водой, над ней висел на гвозде корец, на краю которого держалась прозрачная капля, отражая красные угли костра, всплески света от искр летучих. У самого огня спал человек. Охапка сена в его изголовье и тулуп дымились от искр. Я взял корец, набрал воды и залил огоньки, подкраившиеся к нему. Кто-то произнес его фамилию — Ольмин — и прибавил крепкое словцо. Гамов и Хижняк осторожно перенесли его ближе к стене сарая. На всю жизнь запомнил я совпадение ожидаемого с действительностью; это было похоже на мираж, но мираж остается недостижимым. У меня же случилось иначе...

Встав до зари, ожегши рот кашей, я с необыкновенным на-

слаждением разбирал и собирал винтовку, прицеливался в можжевеловый куст, в раннюю тень сосны. Я с нетерпением ждал: когда же?..

* * *

Но пока только партизанская разведка выезжала в дозоры. Совершался переход к спокойной, насытой, благополучной жизни, и я замечал, как угнетает капитана бездеятельность. Он, как мог, сдерживал себя. Несколько раз он пробовал объясниться с командиром отряда Максимовым. Уравновешенный бородач, кажется, одерживал над капитаном победу. Окладистая борода, круглые блестящие глаза, розовые пятна щек — таким я запомнил командира.

— Ударим, когда надо! — услышал я однажды от него и понял, что он не спешил «ударить».

...Витя Скориков достал пилу, два топора, и мы отправились валить лес для землянки. Капитан оказался с нами. Я вспомнил, как лесничий под Звенигородом объяснял когда-то, что такое строевой лес и как с ним надо обращаться. Было это, когда нас зачислили на биофак, — значит, около года назад...

— Студент? — удивился капитан, когда я попробовал вспомнить урок лесничего.

— Бывший.

— Доброволец?

— Доброволец.

— Мы из одной роты, — сказал тощий темноглазый Скориков, — и почти земляки: я из Раменского, он из Москвы. И было нас двое, потом Ходжиакбар присоединился, потом еще кто-то, потом уж ты, капитан.

Скориков лихо скрутил козью ножку и прикрыл глаза от удовольствия, когда затянулся. До войны он был слесарем, жил с матерью, и я видел, как он писал ей письмо при свете копилки, — вечер, два, три, а он все писал и писал, медленно выводя буквы огрызком синего карандаша.

— Самолетом отправишь? — спросил я. Он уловил иронию и, не отрываясь от письма, сказал:

— Не беспокойся, отправлю.

А я не любил писать письма. И потом, события войны — стремительное наступление немцев, окружение и, главное, слухи о выдвигении неприятеля к Москве — поглощали мое внимание. Тысячу раз представлял я, как один, увешанный гранатами, проникаю в штаб вражеской дивизии на исходе ночи... или встречаю немецких автоматчиков убийственным огнем из лесной засады. Между тем я ни разу еще не бывал в бою. Потому-то легко получилось все в моем воображении, и я непременно выигрывал любую схватку.

Но, честное слово, капитан думал о том же. Если бы не удар немецкой авиации, если бы орудия остались целы, если бы не пошли неприятельские танки... Все эти «если» открывались мне из отрывочных замечаний, из отдельных, услышанных мной фраз.

...Итак, в землянке нас оказалось четверо: капитан Ивнев, Скориков, Ходжиакбар и я.

Разговор в партизанском сарае... Мы взмошлись на нары, сбитые из горбыля.

— Расскажи, как там было. — Чей-то вопрос был адресован человеку, которого я в полутьме сначала не заметил, но по шраму на щеке узнал: Мешко. Станислав потянулся к огню, метавшемуся в самодельной «буржуйке», быстро подкинул на ладони уголек, прикурил от него, примерился и отправил его снова в печурку.

Он глубоко, жадно затянулся и вовсе не спешил отвечать на вопрос. В неярком красноватом свете руки и лицо его казались вырезанными из твердого светлого дерева.

Все молчали, и в этом узком пространстве между плохо обструганными досками землянки казалось пусто без человеческого голоса. Лица застыли, как маски, и я почти физически уловил это тревожное состояние ожидания и угадал, что сейчас он заговорит...

— Как там было?.. — негромко, хрипло переспросил Мешко и снова глубоко затянулся, так что самокрутка, потрескивая, вспыхнула светло-оранжевым огнем, отразившимся в его глазах. — Лучше бы я не помнил этого, — сказал он в сердцах, но лицо его оставалось неподвижным. — Лучше бы забыть все, что было после взятия немцами Окуниновского моста. Не слышали про такой?

— Нет, вроде не знаем, — неуверенно пробасил некто в замусоленных до блеска ватных штанах.

— То-то и оно, — проговорил Станислав, — а я хорошо знаю... Не думали мы тогда, не гадали, что так быстро переправятся они через Днепр. Там даже и боя настоящего не было. Стояли артиллеристы на правом берегу, а когда подошли немецкие танки, у них не оказалось бронейных снарядов. Открыли огонь шрапнелью, но танку шрапнель что лошади комариный укус. Вот и прошли они...

Мешко снова затянулся, умолк, задумался и как-то пристально смотрел на красную дверку печки, словно пытаясь прочесть там не ведомые никому слова.

— Вот и прошли они... — повторил он. — И пошли, и пошли...

— Что же дальше? — спросил тот же голос — и осекся.

— Дальше? Ты что же, не знаешь, что было дальше? Окружили они нас, замкнули кольцо. Что потом было — соображай. Теперь-то уж представить нетрудно, как можно воевать в окружении.

— А ты не паникуешь, брат? — спросил кто-то скороговоркой и сплюнул.

— Ты сам расскажи, если знаешь! — ответил Мешко. — Молчишь? Без паники мы в окружение попали, стояли насмерть. Но дело, как оказалось, не в этом.

— А в чем же?

— В умении воевать.

— Что же, по-твоему, выходит, давай прикинем...

— А мне нечего добавит к тому, что сказал, и прикидывать нечего. Я чудом жив остался и жизнью на дорожку после того, что видел. Разве дело во мне? Видел бы ты, что там было. Там товарищей моих немало осталось.

И потом он говорил медленно, тихо, с расстановкой, и, пока говорил, его никто не перебивал. Все чувствовали правду в его голосе, но не могли поверить словам. И во мне все сопротивлялось желанию поверить в услышанное. И за этим снова и снова рой вопросов, тревожных и беспощадных, и я думал о том, как трудно осознавать истину.

* * *

Помню ясный вечер с высоким небом, с какими-то утраченными запахами: то ли хвоя так пахла, то ли сено, то ли сама земля, присыпанная снегом, еще давала знать о себе.

И звезды... Где-то далеко-далеко звездная пыль могла превратиться в ничто — пламя могло давно угаснуть, и к нам шли последние, где-то уже оборвавшиеся сигналы бедствия.

Ближайшие к нам звезды горели ярко и спокойно. Даже человеческая жизнь кажется долгой по сравнению с запаздыванием лучей, посланных как доказательство несомненного их существования, подлинности.

В этот вечер появился мальчишка. Сначала он побывал у бодротатого командира, потом капитан привел его в нашу землянку. Вместе мы быстро сладили топчан, и Кузнечик остался с нами пятым. Полное его имя — Володя Кузнецов — в отряде с первого же дня предали забвению.

Мне не хотелось спать. Оттого ли, что это был последний день раннего предзимья, или оттого, что после рассказа Кузнечика я еще продолжал мечтать, как бы поступил я, если бы... Если бы? Странное мальчишеское заклинание, которое помогало мне держаться и думать о будущем.

...Кузнечик шел к партизанам. Наткнулся на немцев. Они гнали заложников в Михайловку, но на развилке полузанесенных снегом дорог выбрали окольный путь. Впереди слепо белели полукружия холмов.

— Ты есть пацайн! — на ломаном русском кричал офицер. — Отвечай! Ты есть местни?

— Местный я, — подтвердил Володя.

— Показат дорога на Михайловка! — приказал офицер, и Володе показалось, что он пьян. — Зо, зо, Михайловка, так есть название.

Володя повел их к деревне. Слышно было, как немцы, сопровождавшие колонну, покрикивали:

— Бистро, бистро, рус!

По пути к деревне офицер протрезвел и спросил:

— Куда шел, мальчик?

— Я шел в свою деревню, — ответил Володя.

Ответ показался немцу удачным, и он отпустил Володю, подарив ему пачку сигарет.

— Есть подарок за работ, — пояснил он.

— Веселый офицер, — улыбнулся Володя, рассказывая эту историю. — Все время по дороге что-то лопотал своим, те за животы держались.

— Куда поместили заложников? — спросил капитан.

— В школу.

- Сколько немцев?
— Насчитал около двадцати.
— А в Михайловке до этого сколько было? — спросил Ско-
риков.
— Около сотни, если не больше.
— Ясно? — спросил капитан. — Засиделись мы в лесу, как
медведи в берлоге, не ровен час, шерстью обрастем...

РЕКА ПАМЯТИ

Резкие длинные тени обозначились на деревянном столе, на лавке, на земляном полу. Коптилка ярко вспыхнула, потом зами-
гала и погасла. И я погрузился в сон...

Снился ветер над зеленым раздольем поля; трава была удиви-
тельно рослой, шершавой на ощупь; было тепло, ясно, но солн-
ца не было видно. Как будто бы пряталось оно за высоким за-
гравком холма, заросшего дикими голубыми травами и незнако-
мыми цветами. Сухие стебли касались моей шеи и подбородка.
Я шел к вершине холма. Сильное ровное движение воздуха над
моей головой я ощущал поднятыми ладонями. Чем ближе к
вершине, тем реже становилась трава и тем звонче была пес-
ня ветра.

Под ногами — зелено-голубые волны. Зоркими мальчишечьи-
ми глазами я поймал две тени. Увидел гривы и горячие глаза ко-
ней. Внезапно испугавшись чего-то, они застыли на мгновение и
понеслись так, что у меня дух захватило: гривы гневных разме-
таны ветром, уши прижаты, ног не видно над травой.

Я тоже испугался и побежал вниз. Навстречу несся гребень
леса, он поднялся вдруг на том месте, где кончался крутой
склон. Темный, ропщущий под ветром лес, и слышно было, как
начали стонать стволы. Вершины деревьев качались уже над са-
мой моей головой. Куда-то вдруг исчез привычный мир, не вид-
но ни неба, ни окоема, ни травы — сухие корявые стволы поч-
ти без листьев. Я иду по лесу, иду и не могу выбраться, начинаю
кричать... Просыпаюсь на мгновение, успокаиваюсь и снова про-
валиваюсь куда-то. Теперь это глухая опушка леса, где корни
черной ольхи вымыты из крутого берега потоком, где зеленый
шатер укрывает неведомую реку. Ее темные воды бегут спокой-
но, на глади реки ни морщинки. Волшебный поток несет желтые
листья, хотя вокруг темная, влажная зелень. На воде появляет-
ся мертвая лилово-красная бабочка. Потом — сказочный золотой
жук, он бежит по воде, как посуху. Я начинаю догадываться...
Еще минута, и ответ приходит, не нарушив сна. Это же Река
памяти!

По ней можно добраться куда угодно. Мгновение я баланси-
рую на грани сна и бодрствования. Снова сон.

Величаво, спокойно несет свои воды Река памяти.

Возникает простор.

Холмы в свете дня, бесконечные волнистые дали и над ними —
сияние. Две знакомые ветлы, между ними — солнце. Дом моей
деревенской бабки. Дом каменный, крыльцо деревянное. Группа
высоких ветел поодаль, у пруда. Там тревожно кричат черные
птицы.

Появляется Наденька, сверстница. Дом ее бабки рядом. Я вижу теперь Наденьку так отчетливо, что угадываю ее мысли.

Три недели кряду не дожидло, тщетно купались воробы в сухой пыли на дороге, близ самого крыльца, и даже ветер обманул — пронес над селом, над самыми крышами, серые тучи, а живительного дождя так и не надул. «Дождя бы!» — думает Наденька.

Вокруг дома бродят гуси, не узнающие Наденьку, чуть что — шея колом, клюв щипцами, тогда беги куда глаза глядят. Глубокая лужа с талой водой высохла, дно ее растрескалось, а ведь еще в июне прямо с пыльной дороги босиком можно было вбегать в тепловатую, но свежую воду и по травяному берегу выйти к поляне, за которой начинались огороды. «Как странно! — думает Наденька. — Что-то случилось». Бабка Василиса, еще довольно молодая (пятьдесят девять всего), скупая на слова, строгая, не очень привлекает Наденьку. А в последнее время, когда в поле, на огороде все прибавлялось и прибавлялось хлопот и солнце начинало жечь уже до полудня, загорелое лицо бабки еще посуровело.

Пыль припудрила все вокруг — изумрудную поляну с одуванчиками и высокими колючками, на которые садились щеглы, доски, приготовленные для починки двора, листья черемух в саду, большие лопухи у забора. Как хорошо было в мае! Какими прозрачными, необычными, светлыми вечерами встречали Наденьку сад и дом, затерянные где-то на полпути в сказку!

В первый же вечер показалась над забором веснушчатая физиономия соседа Борьки. Поглядел на меня, на нее и спрятался, потом залез на забор, поманил Наденьку рукой, спросил:

— Хочешь, я тебе свистульку сделаю?

— Я не умею свистеть, — с сожалением созналась Наденька.

— Я научу, — сказал Борька, — я все умею.

Он пропал за забором. Потом снова возникла его рыжеватая голова. Он перелез через забор и подал Наденьке свисток. Но, когда она приложила его к губам, раздался лишь чуть слышимый низкий звук — такой, что нужно прислушаться, тогда услышишь. Из вежливости Наденька не подала виду, что разочарована.

Настоящими друзьями мы не стали. Изредка Борька брал нас в экспедиции на дальний ручей, где под плоскими камнями прятались выюны, а в небольших омутках с крутыми глинистыми берегами встречались, хоть и редко, рачий норы. Наденька пробовала тоже таскать раков и, выбрав прут подлиннее, запускала его в рачий дом, но раки оставались равнодушны к этим попыткам выманить их на свет божий. Мне везло больше.

Выше ручья пробивались из-под серой комковатой земли ключи, и весь склон большого холма сочился прозрачной влагой.

С холма мы могли так старательно и долго отыскивать край неба, что голубой купол раскалывался на розовые и зеленые кусочки! Не там ли, между невидимыми небесными льдинами, проступали вдруг звезды? Но нет! Это глаза наши невольно прикрывались от яркого света, и тогда плыли и плыли странные огни, мерцающие точки, желтые и зеленые светляки.

Отсюда виднелась деревня со странным названием Теребуши. До нее, как говорил Борька, было километров аж восемь, и вся

она была окружена рощами, посадками, самих домов не разглядеть, так, одни крыши, выступавшие кое-где из зелени. «Как далеко! — думали мы. — И за день не дойдешь».

Однажды, лежа на сене, собранном в стога на вершине холма, я сделал открытие. Дальняя деревня в жарком мареве, полуспрятанная среди синеватых сосен, вдруг вошла в сознание, как совсем иной мир, с другими, пусть похожими, но другими людьми. До сих пор я думал обо всем так, как будто и бабка моя, и Наденька, и Борька были как бы частью моих мыслей. Да, они говорили со мной, рядом жили. Но вот здесь, на холме, над которым висели жаворонки, я попробовал впервые представить себя на их месте.

Что, к примеру, делала моя бабка Матрена? Наверное, в тот самый момент, когда кто-то в дальней деревне шел на работу, бабка уже возвращалась домой, чтобы приготовить мне обед. А в это самое время где-то далеко, в городе, на заводе, в цехе, моя мать стояла у конвейера и, быть может, думала обо мне. Как трудно привыкнуть к этому... У меня закружилась голова, и я снова пристально взгляделся в крыши домов деревни, той, дальней деревни. И понял: да, и там люди жили и работали по-своему, и у каждого было свое дело, и каждый мог думать так, как я сейчас, о других.

Это было открытие, так думать я еще не пробовал. Но сказать об этом Борьке и Наденьке не решился: ведь засмеют наверное. Да и как об этом скажешь?

Я теперь иногда рассуждал про себя о бабке Матрене: какая она, добрая или нет? старая или не очень? любит маму или нет? а меня? и почему она все молчит и молчит, совсем не улыбается? Раз я сказал бабке:

— Хочешь, баба, я тебе сказку расскажу?

И стал рассказывать, но сбился и не кончил сказки.

Мать перед бабкой робела, я это знал. Один раз вечером, когда уже спать полагалось, словно укоряла бабка мою мать:

— Думаешь, одной-то легко, касатка?..

Река памяти...

Наденька часто спрашивала свою бабку о том, почему нет дождя и что будет с травой, с садом, если еще немного сушь продержится. Бабка отвечала ей, а потом вдруг осерчала:

— Ладно о дожде-то, иди-ка лучше шлендрай засветло, а то, как вечер, в избу не загонишь.

«Дождя нет, вот почему плохо», — думала Наденька.

В тот предгрозовый вечер я засыпал и слышал, как бабка Матрена стучала ухватом, как закрывала калитку, — и тоже думал о дожде.

Грянул ливень. Наденька проснулась. «Дождь, — подумала она, — дождик...» По крыше стучало. Шумная струя падала у самого окна, стекая с крыши. Все звуки потонули бы в этом шуме и гуле.

— Дождь! — воскликнула Наденька негромко.

Стекло дрожало от косых ударов ливня. Гром! Июльские раскаты в темной бездне неба. И еще, еще. Свечение неба. Вспышки. Повторяющийся грохот. Я тоже проснулся.

Наденька встала с постели и быстро выбежала в сени, открыла дверь, вышла на крыльцо и с минуту стояла, изумленно на-

блюдая за тускло блестящими струями, падавшими сверху отовсюду, куда только хватал взгляд. Целая река воды. Наденька взяла кружку с деревянной крышки ведра для питья. Потом сняла рубашку и, быстро выбежав из-под крыши, поставила кружку на плоский камень перед крыльцом. Наденьку обдало прохладной струей. Радуюсь, вбежала она на крыльцо, отряхнула воду ладонями и надела рубашку. Я увидел ее на крыльце. Ведь я тоже проснулся в эту ночь.

Весь следующий долгий час прислушивались мы к немолчному гулу дождя, к звонам ручьев, падавших с крыши, к таинственному журчанию воды, омывшей камни, травы и корни деревьев. Хороший дождь, думал я, и думала она, и мы снова уснули.

Когда Наденька открыла глаза, яркий свет пылал уже за мокрым окном. И голоса птиц возвещали утро. И я проснулся в тот же самый час. Половицы крыльца были шершавыми, холодными.

Она спустилась с крыльца, ступила на белые гладкие камни, совсем холодные... подняла кружку с дождевой водой, почти полную. Наденька не удержалась, отпила глоток этой воды, предвкушая наслаждение. Но вода была совсем не такой вкусной, как родниковая.

С крыши капало, рослая трава на лугу преклонялась под порывами ветра. Все это — и шершавое влажное дерево, от которого поднимался едва различимый синий пар, и трава, кланявшаяся ветру, сбрасывавшая с себя россыпь дождевой росы, и шумевшие ветви над головой, и громкие крики птиц — казалось необыкновенным и новым. Сотворено это было отшумевшей грозой и лучами солнца. (И тревожный крик черных птиц после восхода навсегда вошел в мое сердце.) О, Река памяти!

Ближе к рассвету я снова был на берегу черного потока, несшего жухлые листья. Силился вспомнить, тоже во сне, конечно, где же это я видел его раньше; напрасно. Промелькнули тени двух коней — гривы опущены, ноги устало мнут травы. И вдруг — свет, солнечный простор, хлеба в сизом цвете, тонкая черта окоема... Вещий, пророческий сон.

МИХАЙЛОВКА

Проснулся я от громкого возгласа капитана, скомандовавшего подъем. Вскочил с топчана раздетый до пояса, выбежал на улицу, умылся, зачерпнув воды из бочки (для этого пришлось проломить тонкий, как скорлупа, ледок, успевший образоваться за те полчаса-час, когда до меня умывался, наверно, капитан). За мной вскочил Ходжиақбар, щуря темные глаза, тоже раздетый до пояса; я облил его водой, но он не обиделся.

— На дело идем, говоришь? — спросил он.

Я мотнул головой, но зазевался: полчерпака воды растеклось по моим плечам. Капитан был по-молодецки бодр и серьезен, как никогда. Ходжиақбар старался не подавать виду, что думает о предстоящем бое. А мной постепенно овладело волнение, но я успокоился в походе, когда мы прошли не один километр.

Капитан шел с винтовкой, которую он успел раздобыть еще на пути в отряд... Скориков не разлучался с самокруткой. На первом привале он обратился ко мне:

— Бийской махорки хочешь?

А когда я спросил, откуда могла здесь появиться бийская махорка, он таинственно, со значением улыбнулся. После привала отряд направился к деревне. Десять человек с капитаном во главе пошли в обход. Капитан взял Ходжиакбара, Скорикова, меня. Вот оно, наше «если»... Мы обойдем деревню и ударим первыми. Стало быть, противник оттянется на нас, и тогда ударит весь отряд. Идея капитана, я не сомневался в этом. Его большие глаза казались в это утро совсем светлыми, колючими. Я простил ему строгий командирский тон, грубоватые окрики за одно то, что он вытащил отряд из берлог, убедил-таки командира... а было в отряде всего-то около сотни штыков, у немцев поболее. Я был несказанно благодарен капитану за доверие.

Мы шли по неглубокому снегу след в след. Атлетическая фигура Ходжиакбара маячила передо мной, и я удивлялся, как он, южанин, так споро, легко вытанцовывал этот бросок. Позже я понял, чего ему это стоило: лоб его покрылся капельками пота, и он с трудом переводил дыхание.

Вот она, деревня... Я присмотрелся: у мягкого окоема выросли темные дома, я жадно разглядывал их и думал, как нелегка была наша задача.

Вскоре послышались выстрелы. Я увидел темные далекие фигурки.

— Ложись! — крикнул капитан.

Я упал в снег. Рядом плюхнулся Ходжиакбар, дальше — Скориков. К нам двигались короткими перебежками немцы.

— Огоны! — командовал капитан, когда цепь поднималась. Сам он ползком медленно продвигался вперед. Вот он встал, пробежал с десятков шагов и с разбегу бросился под куст. Вскочил и, согнувшись, перебежал еще дальше. Я посмотрел на куст, за которым он лежал только что, с надеждой: вот бы за ним укрыться... Но в то же мгновение с куста осыпался снег, срезало две ветки, и он, казалось, задымился. Я тут же понял: куст был ориентиром, и враг приметил, конечно же, откуда только что вели огонь. Капитан лежал как ни в чем не бывало в двадцати шагах от прежнего укрытия, в заснеженном углублении.

Мы тянулись за капитаном. Залег Ходжиакбар; его присыпанная снегом телогрейка сливалась с фоном, и тело его распласталось, голову он держал как-то странно, почти положив ее на приклад. Серые шинели снова поднялись. Я выбрал цель, но опоздал — словно невидимый щелчок свалил моего противника. Это поймал мгновение и ударил капитан. «Вот оно, — подумал я, — теперь или никогда...» Страх перешел в волнение, и волнение это, возбуждение делали тело упругим, как пружина, податливым.

Я пополз вперед. Догнал капитана, опередил его. Выстрелы наших раздавались за моей спиной. А я молчал. Немцы укрывались за кочками и заснеженной скирдой. Неожиданно близко от меня воздух вздрогнул от автоматной очереди. Показался ствол немецкого автомата. Очередь иссякла — он пропал. И снова вылезло черное дуло из-за бугорка. Царапая руки, я быстро пополз несколько метров и бросил гранату. Немец успел открыть

огонь по левому крылу нашей группы. Грохот близкого разрыва... Автомат замолк.

И в эту минуту донеслось пока еще далекое, недружное, крепнущее «ура». К деревне подоспели главные силы отряда. Немцы, «наши» немцы, стали отходить. Потом я узнал, что именно в этот момент срезало двоих из группы: отходя, немцы умело отстреливались. Капитан окликнул меня, указал рукой на скирду:

— Видишь?

Я кивнул. Подполз к нему.

— Нужно выйти к скирде, понял? Пойдешь со мной.

Мы побежали, согнувшись, и очереди стали дырять снег в стороне от нас. Свинцовая струя ударила впереди, рядом, потом еще, но не задела ни его, ни меня. Мы прошли опасный участок. Нас укрыл берег над замерзшим прудом, потом — балка с черным ручьем. Я чувствовал, что устал, но бежал, и капитан потом признался, что и он рад был бы автоматной очереди, чтобы броситься на снег и отдохнуть. Нас не заметили, и нужно было использовать это, не теряя ни мгновения.

...Мы вышли к скирде как раз в тот момент, когда к ней отступило немецкое прикрытие: семеро с автоматами. Мы открыли фланговый огонь, и они очистили дорогу. Поднялся Ходжаибар. Скориков быстро шел, держа винтовку как в штыковой атаке, и шаги его казались непомерно большими. За ним, пригибаясь и останавливаясь, выпуская с колена пулю за пулей, приближался к скирде Станислав Мешко. Тусклые огоньки вспыхивали у стен домов, из-за углов раздавался треск очередей, но нам везло. По дороге отходили немцы. Повалил снег, такой, что все запрыгало перед глазами. Скориков подошел к капитану, и я услышал, как он докладывал о наших потерях.

— Выходим к школе! — сказал капитан.

С другой стороны деревни показались наши. Из-за околицы ближайшего к нам дома по ним бил пулемет — неровно, с перерывами, точно захлебывался от ярости.

Мешко и Скориков уже кралась к нему... Я потерял их из виду. Стало почти тихо. Одиночные выстрелы, удаляющиеся звуки автоматных очередей — озлобленное, неровное тявканье.

Я едва успел перевести дух. Нас было теперь восемь человек.

Мы двинулись на окраину деревни, пробирались задворками, огородами, потому что и деревенская улица, и дома заняты были еще немцами, и они, как мне казалось, не собирались оставлять их.

Шагах в трехстах от нас горел дом.

— Не отставать! — крикнул капитан. — Не останавливаться!

Из черных провалов окон вырывались грязно-красные языки огня и лизали сруб. Перепуганный деревенский мальчишка лет восьми, увидев нас, несказанно обрадовался. Теперь у нас был провожатый.

Я помогал ему, тащил за руку по снежной целине, и вот мы увидели двухэтажное здание на взгорке, недавно, наверное, построенное колхозниками. Подле суетились фигурки в шинелях мышинного цвета. Пламя враз охватило стену школы. Немцы убегали, у одного из них в руках плоская темная канистра...

И опять звучало в голове это неверное, как старое обещание, слово «если».

Капитан ворвался в школу, сбив прикладом замок. Я кинулся за ним. На лестнице — дым.

— Выходи! — Голос капитана звучал где-то на втором этаже.

Плечом я выломал дверь класса. Неподвижные лица, темные платки женщин, плачущие дети, возгласы радости, чьи-то причитания — все это едва успело войти в сознание. Плечом, сапогами, кулаками я бил в заколоченные двери, пока задымленный коридор и медленные, чадающие языки пламени и лица не поплыли вдруг перед глазами. Я держался за стену и сползал по ней. Странная, непреодолимая сила тянула меня вниз, ноги подогнулись.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Ну как? Жив? — Лицо капитана возникло и отдалилось, и над нами закачались белесые облака.

Щеку уколола соломина. Я лежал на телеге, и она вместе со мной плыла под слепым зимним небом. Капитан казался таким усталым, что я вслух сказал об этом.

— Лежи, лежи!.. О капитане не заботься... — Он сказал это вполголоса, для себя, но я услышал.

Позже я узнал, что у нас девять человек убитых, пятнадцать раненых, точнее, четырнадцать — меня посчитали сначала за раненого.

— Жив я и не ранен даже! — ответил я капитану и подумал, что слишком быстро наглотался дыма и вообще мог не выдержать: я ведь не заяц, чтобы без усталости бегать по снегу.

— Признаться, я не ожидал, что ты таким окажешься, — опять вполголоса сказал он, — гранату ты им подбросил вовремя, только горячился зря, могли шлепнуть!

Мы взяли трофеи, но деревню так и не отбили; отход прикрывала группа, вооруженная трофейными автоматами — оружие что надо, хоть траву коси...

Опять повалил снег; густой, влажный, тяжелый, он засыпал наши следы. Из-за белой завесы вынырнул Ходжиакбар. Он рассказал, как помогал перевязывать раненых и как в школе, которую мы сегодня взяли, нашли мальчонку лет четырнадцати и уже приняли в отряд. Его немцы заперли отдельно, после допроса, и у него волосы к обledenелой стене примерзли.

— Тебе холодно? — спросил я Ходжиакбара.

— Нет, — односложно ответил он. — В Узбекистане зимой тоже морозы бывают, а бедняку всегда холоднее, и ему надо привыкнуть.

— Бедняку? — Слово резануло слух.

— Ну, когда маленьким был, кто же я был? Конечно, бедняк. Мать и отец на бая спину гнули, а потом...

— Что потом? Расскажи.

И Ходжиакбар начал рассказ.

Он помнит быстрый арык. Землю, которой вечно не хватало воды. Пески, которые окружали кишлак, казались морем; светлое днем, вечером оно было красным от пылающего солнца. Помнит своего отца. Худошавый человек сидит на берегу ары-

ка, в его руке горсть земли, он смотрит в ту сторону, откуда бежит вода, ее будто бы становится меньше день ото дня.

Всплывают в памяти рассказы о том, что воды не хватит и для питья, как было уже не однажды в старые знойные годы. Его мать сидит над ковром. Рядом — маленький брат Ходжиакбара. Руки матери зелены от тени чинары; они так проворно летают над ковром, что Ходжиакбар не может уловить движения пальцев, но видит, как постепенно расцветает ковер. Ходжиакбар выходит на улицу, следит за мельканием зеленых зайчиков на стенах домов, за полетом птиц, за свирисающими зверьками у околицы...

Тяжелый год: в тот год ушли двое из кишлака, а потом вернулись, и с ними пришли какие-то новые люди. То был год больших перемен, потому что у бая отобрали землю.

Ходжиакбар помнит, как разговаривали односельчане в доме отца.

— Голод — плохой товарищ. Голод — союзник бая. Он помогал ему за кусок лепешки впрягать нас в ярмо. — Это слова отца...

— Добрые люди говорят, что еды хватит на всех, если разделить поровну. И Ходжиакбар видит лицо его товарища Нармурада.

— Нужно, чтобы было что делить... Посмотри, как иссохли поля, разве слезами их польешь?..

— Нам помогут, — твердо сказал Нармурад.

— Кто поможет? — спросил Кадыркул-ака, другой товарищ отца.

Ходжиакбар слышит короткий ответ Нармурада:

— Люди из России.

— Чем они могут помочь? Там, на западе, бесконечные войны, вот уже много лет воюют, кто там будет на полях работать, скажи-ка, Нармурад?

— Разве амбары ишанов и баев пусты?

— Нам больше по вкусу травяная мука, Нармурад. — Кадыркул-ака усмехнулся, но при этом на его лице морщины обозначились так резко, что казалось, будто он злобно оскалился.

— Я вижу, ты правильный человек, Кадыркул-ака, все понимаешь.

— Всю жизнь учу дедовскую мудрость, друг мой Нармурад, но, видно, не все еще до конца постиг. Что ты там сказал об ишанах и баях?

— Нужно взять у них пшеницу, как это сделали в России...

— Ты думаешь, они ее отдадут?

— Отдадут, если постучать прикладом винтовки в амбарную дверь.

— Что же ты хочешь от меня, Нармурад?

— Чтобы ты помог добыть хлеб для себя и других.

— Мне нужно подумать, Нармурад, хорошенько подумать, ведь у меня жена и дети. Слышал я, что никто не отдает ключей от амбара просто так, задаром. Что я должен отдать за эти ключи, вот в чем вопрос. Дай подумать...

— Воды будет поровну у всех. — Это слова отца...

Ходжиакбар помнит, как по улице несли на носилках раненого

человека. Отец шел за носилками, а потом вернулся хмурый, неразговорчивый. Прошло несколько дней, и нагрянули басмачи. Они увели отца. Навсегда.

После рассказов Ходжиакбара я вижу иногда, как точно через матовое стекло проступает улица восточного города. По улице идет юноша, наверное, Ходжиакбар. Появляются тени под чинарами, глинобитные дома, прохожие; белый как лунь старик отдыхает прямо на земле, под стеной. Розоватые стены медресе, коричневый портал и минареты, освещенные косыми лучами солнца, цветные пятна тюбетеек и женской одежды... Возникает неведомое пространство, бежит время, и после каждого слова Ходжиакбара прибавляется еще один оттенок: Но я рисую эту картину в своем воображении в той манере, которой я лучше всего владею: краски выходят мягкими, объемными, вполне передающими пространство, контрасты между светом и тенью исчезают, солнечный свет я вижу то белесым, то желтым, то оранжевым, и я пытаюсь уловить все цвета солнечных лучей — ярких и рассеянных, мягких и резких.

Мне становится тепло от слов Ходжиакбара: столько солнца! Я говорю ему об этом. Он молчит, и я вижу: он задумался.

— О чем задумался, Ходжиакбар?

— Об этом не расскажешь...

— Понятно, Ходжиакбар.

— О, ты не видел восточной ярмарки!

— Ну, расскажи!

— Не могу. Снова вспомню про Айшагуль.

— Кто она?

— Я встретил ее на ярмарке. Только раз.

— Вернешься, найдешь ее.

— О нет, не найду.

— Айшагуль... красивое имя... Ты потом ушел в экспедицию?

— Год я был в экспедиции, потом война...

— Что вы искали?

— Старые города. Остатки древних камней. Следы людей...

Скорилов шел рядом своим быстрым, накатистым шагом, на тощем плече его дулами вниз болтались два немецких автомата. Он подмигнул мне: «Один твой!»

Возле нас, не таясь, во весь голос, партизаны рассказывали о пережитом в бою.

Увидел я и тех, кто успел уже проститься однажды с жизнью. И когда сегодня утром они услышали выстрелы, то не поверили...

— Уж мы думали, все, конец, — в который раз повторяла женщина в платке, когда кто-нибудь из наших оказывался рядом. — Умирать приготовились, а тут вы... — И она останавливалась, и оглядывалась, словно действительно не могла поверить случившемуся, но движение колонны возвращало ей уверенность в том, что это не сон.

Мы шли, спрямляя путь, минуя перекрестки и околицы, входили в лес и снова выходили на простор, стараясь быстрее уйти с открытого места. Темнело. У лагеря нас встречал партизанский патруль, девушка и парень. Девушка рванулась к нам навстречу, и я услышал ее голос:

— Вера, ты! А я-то сегодня тебя весь день вспоминала!

Притихшая, серьезная Вера только смотрела во все глаза на свою подругу партизанку и не могла сказать ни слова. Они обнялись и стояли в стороне от людей и двигавшихся повозок, а потом, словно опомнившись, девушки побежали, догнали голову колонны и стали наперебой кому-то рассказывать о встрече.

Небо было уже темным, прозрачным, а партизанская колонна похожа была на течение реки, освободившейся невзначай ото льда среди снеговой стужи.

Скоро мы оказались в низине. И снова — подъем, последний... Пологий северный склон холма. Еловые лапы и подлесок сузили пространство. Каурый конек, тянувший первую подводку, поднял голову.

МОСТ

На пороге землянки стоял мальчишка с бескровными губами, белесыми бровями, сероглазый, ростом с нашего Кузнечика, и за его спиной в вечернем воздухе, пронизанном свечением снега, угадывалась долговязая фигура Скорикова.

— Лёня, Лёнички! — назвал его имя Виктор, протиснувшись боком в землянку вместе с мальчуганом, затем пошарил под охапкой соломы в углу землянки, извлек из нехитрого тайника топор и позвал Кузнечика:

— Пойдем!

Они вышли. Пока Лёничик рассказывал о себе, в партизанском сарае, видимо, шла работа: Виктор и Кузнечик вернулись с широкой лавкой. Скориков точно пригнал доски, снял остро отточенным тесаком углы и сделал зарубки: на память о дне и месяце.

— Ну а год и так не забудем, — сказал он, обращаясь к Лёничку. — Теперь ты прописан у нас по всем правилам.

Лёничка взяли у железнодорожного моста.

При себе у него была самодельная мина. Замысел был прост: когда подойдет поезд с немецкой техникой — дернуть за веревку, прилаженную к взрывателю мины.

Но как удалось пробраться к хорошо охраняемому мосту?.. Лёничик взял с собой из дому вместо маскировочного халата наволочку и каждый раз, когда прожектор шарил лучом поблизости, застывал на месте, прикрывшись ею.

— Я подошел уже и начал закладывать мину, — рассказывал он. — Руками разгреб щебенку, и они меня заметили. Не расстреляли, потому что хотели выпытать о партизанах. Мне не о ком было рассказывать. Они бы отправили меня дальше, я думаю, в штаб.

— Расскажи, как ты сделал мину? — спросил Ходжиабар.

— Я искал неразорвавшиеся бомбы. В сарае выплавлял из них... этот... тол, взрывчатку. Только маму очень боялся, зарывал каждый раз бомбы и тол в землю там же, в сарае. Заложил взрывчатку в деревянный ящик, получилась мина, едва донес. Тяжелая получилась.

— Кто научил тебя этому?

— Это проще простого... В сентябре в газете писали про белорусских партизан. Они такие же мины ставят.

— Интересно, — негромко сказал капитан. — Спасибо за мысль. Ну-ка расскажи про этот мост поподробнее... Что это у тебя пальцы, брат, опухшие? И синие совсем...

— Допрашивали меня они. Вчера. Иголки под ногти вгоняли. Обещали повторить, да не успели.

— Вот оно что!.. — Капитан замолчал, забыв о своем вопросе относительно моста; он лежал на деревянном топчане, скрестив руки на груди, и глаза его были теперь прикрыты. Тусклый чадный свет коптилки косо падал на серый земляной пол, на бревна наката, на сложенные на коленях руки Лёнчика. Лицо капитана Ивнева казалось восковой маской.

* * *

После боя в Михайловке в командирской землянке появился радиоприемник. Капитан рассказывал: немцы отбиты от Москвы. Глаза его подобрели, он улыбался, когда передавал нам содержание сообщения Совинформбюро. Вообще с этого времени капитан изменился (да и не только он). Стал проще, доступнее, понятнее... Спрашивал нас, как мы видели и понимали тот бой в Михайловке и что казалось нам самым важным.

Ходжаикбар подумал и ответил, что ему запомнились первые выстрелы и появление немцев на окраине и еще то, что храбрость приходит в бою.

— А я думаю, что мы правильно разделились на группы, — немногословно отметил Скориков.

— Согласен, что храбрость приходит в бою, — сказал я.

— В каждом бою, ребята, есть главная минута, когда никто еще не знает исхода и можно все изменить, — начал капитан, и взгляд его был тверд и весел. — Вот тогда надо не жалеть ни сил, ни жизни. Просто. Много раз об этом, кажется, говорили, а понятно не до конца. Нужно увидеть именно эту минуту, почувствовать ее, отыскать ее в горячем этом вихре событий, понимаете? Вот мы атаковали с вами школу. Допустим, промедлили бы. Немцы поняли бы, что силы наши на исходе, что они смогут удержать деревню, и тогда... Тогда они не отдали бы заложников. Они не отступили бы, не сбежали; не замедлило бы подойти к ним и подкрепление. Те люди погибли бы. И мы, отстреливаясь, отходили бы в чистое поле. А если бы мы подошли к школе слишком рано, тогда пришлось бы еще труднее: туда стянулись бы сразу большие силы, и мы тоже ничего бы не смогли сделать, ясно? В этом равном бою была только одна минута, когда нам нужно было атаковать. Единственная, запомните это на будущее. Слушайте музыку боя, его дыхание — и не ошибайтесь.

— Глеб Николаевич, — раздался голос Кузнечика, — как могло получиться, что фрицев пустили чуть не до Москвы?

— Не знаю, — серьезно ответил капитан. — Не разобрался я еще в этом.

— А летом опять они будут наступать?

— Остановят их. Пробудилось сердце нашей земли, брат. Ранили они его.

— А где оно, это сердце? — спросил Лёнчик, и ответ капитана будил во мне предчувствие победы.

— Оно большое, сердце земли. На севере, где озера, как небо, просторны, а люди высоки и светловолосы, — там сердце земли нашей. И на юге, где ветры бегут от края степи до самого моря, — там сердце это бьется в каждой груди человека.

— Почему мы к мосту не идем, Глеб Николаевич? — попытался Кузнецик. — Все ждем... Ясно ведь, где охрана стоит и пулеметные гнезда. Разве сил у нас мало?

— Ты когда, брат, досыта хлеба ел, помнишь?

— Когда подводу отбили у конвоя.

— Ну вот видишь... — сказал капитан, как-то странно хмыкнув. — Вот видишь... — снова повторил он, как будто от слов Кузнецика ему стало неловко. — А насчет моста дело не такое уж ясное. Знаешь, сколько времени строили его? Два года. Такие мосты уничтожают тогда, когда их нельзя оставить. Для нас же. Посмотри: развалины вокруг, пепел землю присыпал, и люди точно рожь, которую скосить легко — трудно вырастить... Но мост этот служит теперь немцам, и мы пойдем к нему.

* * *

Зимнее солнце стынет над черным лесом. Оно пробивается через полужанесенный снегом осколок стекла, которое я вставил в дверь вместо окошка. Капитан читает книгу. Тусклые зайчики скользят по скамье, охапке слежавшейся соломы; поздние красные лучи пронзают плотный воздух землянки и напоминают мне то о закате над задымленной городской заставой, то о светлых пятнах на озерной глади, то об освещенной закатными лучами кирпичной стене во дворе моего детства. Каждый день теперь впитывал я новости, которые слышал по радио, и ранними вечерними сумерками переносился мысленно в Москву. Изменилась ли она за время моего отсутствия? Какие следы оставили жестокие бои на подступах к городу, отгремевшие теперь и откатившиеся от его стен? Город мой устоял. Все так же, наверное, ходят трамваи у Рогожской заставы, так же высятся купола храма Сергия и избегают на косогор дома у Садового кольца. Над семью московскими холмами всходит солнце...

* * *

Неповторимое дыхание близкой весны, видение смерти и далекой победы — настроение той нелегкой зимы.

...Мне не забыть той песни — мы пронесли ее к берегу реки, откуда шла прямая дорога на мост. Земля наша дальняя, земля партизанская скрылась за холмом.

Мы и раньше приходили к мосту. Видели, как стекали сосульки с его нагретых солнцем боков, слышали, как ветры играли в фермах, звенело и дрожало железо поездов, низвергая водопады звуков, точно эхо горных потоков. Высились каменные опоры, прочные, как сама земля, бежала вдаль присыпанная снегом насыпь, и катили по ней немецкие эшелоны на восток. То был наш мост, но мы должны были его теперь уничтожить — даже ценой жизни. Я был у насыпи с первой группой партизанских разведчиков. Потом семь человек ушли без меня, погру-

жив на сани ящики со взрывчаткой. Из этих семи не вернулся никто. И мост по-прежнему служил врагу, и приказ о его уничтожении оставался невыполненным.

Минуло трое суток. Нас повел капитан. Мы вышли из лагеря вечером, когда старухи баюкали в деревнях детей. И знали: просторна лесная дорога и свободна, но близ моста ее перегорают дула немецких пулеметов. И в деревне за насыпью стояла рота немецких автоматчиков, готовая отстоять наш мост.

В непроглядной ночной темноте только снег едва заметно светился, и в черной проруби неба раз или два проглянули холодные белые звезды. Две темных стены леса справа и слева укрывали нас, но на коротких привалах партизаны все же прятали самокрутки под шинели и телогрейки.

И снова темный лесной коридор, и снова скрип снега, редкие голоса, вырубка с торчащими пнями, похожими на людей... Километр, два, три. Сто, двести, триста шагов. Еще километр.

Подоспели разведчики. Камальдинов доложил капитану, что на нашем берегу реки два пулеметных расчета сняты, и добавил:

— На станции стоит воинский эшелон с немецкой техникой. Что предпримем? Редкий случай!

— Да, не часто бывает, — спокойно согласился капитан, — хотя говорят, что на ловца и зверь бежит.

И они вполголоса продолжили разговор.

Я знал, о чем шла речь. Капитан еще в отряде предвидел такую возможность. Группа Мешко пойдет сейчас на станцию. Задача: сбить немецкое охранение, захватить паровоз, развести пары, и, как только мост будет взорван, направить эшелон туда. Мысленно я уже видел, как поезд мчится к взорванному мосту, как опрокидываются платформы с танками и, грохоча друг на друга, скатываются по откосу в реку. Я ни минуты не сомневался, что капитану удастся взорвать мост.

Я шел в группе Станислава Мешко. Что-то ждет нас? Прошли сотню-другую метров, я оглянулся. Темнота уже скрывала капитана и людей, шедших с ним к мосту. Лишь три высоких дорожных сосны высились у поляны, где мы расстались.

Вот она, станция! В километре, не более. Среди голой равнины, затерявшейся в наших партизанских лесных далах, разбросано несколько домов, неподалеку вокзал из красного кирпича. Виден эшелон и еще один эшелон. У ближнего дома, длинного, как барак, мы окажемся через десять-пятнадцать минут. Останавливаемся. Мешко приказывает двигаться короткими перебежками, объясняет, как действовать.

Как только часовой показал нам спину, мы с Ходжиакбаров вынырнули из-под вагона рядом стоящего эшелона и в три прыжка очутились у своего вагона. За ним тянулись платформы с танками и пушками. Поднявшись на буфер, чтобы не видно было ног, мы затаились. Часовой повернул в нашу сторону, луч фонаря обшаривал платформы. И вот уже скрипит снежная крупа, слышно, как немец постукивает сапогами от холода...

Удары сердца отдавались в висках. Часовой поравнялся с нами. Навсегда врезалась в память сутулая его спина, каска, надетая почти до плеч, бабий платок на шее. Все получилось

как бы помимо нашей воли. Прыжок — и Ходжиақбар зажал немцу рот и в исчезающе малый миг коротко взмахнул ножом. Я отстал на это короткое мгновение, видел тусклый блеск лезвия, вошедшего куда-то в мяготь шерстяного платка, видел, как резко дернулась рука Ходжиақбара, и в ту же минуту часовой осел на почерневший от угольной пыли утопанный снег. Ходжиақбар молча толкнул меня, мы ринулись вдоль линии, вдоль нагруженных платформ, кто-то бежал с другой стороны эшелона, мы слышали, как задышал паровоз, как стукнули буфера и стук этот прокатился по составу. Мы скатились с насыпи, и тут же ударило по ушам, а в образовавшемся вокруг меня ватном, глухом коконе зазвучали далекие раскаты. Мост был взорван.

Лёнчик стал машинистом. Состав сдвинулся и, погрохатывая на стыках, словно нехотя пошел к реке. И там, куда бежали вагоны и платформы, прорезала темень трасса светящихся пуль, и дробными толчками отдались в ушах пулеметные очереди. С насыпи били трассирующими, и мы поняли, что группа капитана напоролась на немцев. Быть может, часовой в деревне у моста, где стояла рота автоматчиков, заметил что-то неладное, дал очередь, и ему ответили. И догадка эта, близкая, как выяснилось позже, к истине, опять перечеркнула в моем сознании эту выдуманную войну, которую я рисовал иногда в воображении сумеречными вечерами.

Но мост был взорван, в этом никто из нашей группы не сомневался, и Мешко вел нас все дальше от станции, мы почти бежали по старой своей тропе, проложенной от поляны с тремя соснами.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ БЫ ЛЁНЧИК

Когда-то отец брал меня с собой на паровоз, и пляшущие стрелки, рельсы, бегущие навстречу вместе с ветром, были памятны мне, близки.

Легка и крылата была лопата, надежна плоть металла, послушно задышавшая огнем. Дошел до нас гул долгожданного взрыва — мост был искорежен, низвергнут.

— Не медли, машинист! — Мешко махнул рукой.

Сдвинулась земля. Застучали колеса. Сложились слова: «Беги, дорога; лейся, река ветра; звени, звени, паровозная песня!» Побежал старый паровоз в последний свой путь.

Позади остался синий глаз станционной околицы, надвигалась пуста́я поля с черным лесом по краю его. Рельсы вели поезд по широкой дуге, скоро впереди должен был оказаться мост. Уже ощущалось приближение рассвета; от рукавиц шел пар; в топке гудел и сиял огонь. Теперь можно было оставить ее, спрыгнуть, скатиться с насыпи, но что-то необъяснимое заставило меня промедлить — я остался.

В поле тусклыми искрами мелькали выстрелы, над полотном дороги стелились трассы пуль-светляков, потом пунктиры очередей исчезали, таяли и появлялись в другом месте. Мерцало, стучало огниво пулеметов. Предрассветные облака стали серосиними, впереди виднелось белое полотенце реки, и, пристально всмотревшись, можно было разглядеть искореженные фермы моста. Но незаметно было людей в этом тускло мерцавшем вы-

стрелами и очередями пространства. Поезд бежал все быстрее, и я должен рассчитать тот момент, когда следует прыгнуть с подножки паровоза. Я хотел приблизиться к мосту, к нашим. Наверное, автоматчики врага случайно обнаружили группу, когда наши закладывали ящики с толом.

Минута — и я увидел или скорее угадал редкую цепочку темных силуэтов, они мелькнули как тени в стороне от дороги, от моста. И тут же исчезли. А перестрелка еще продолжалась, и я знал, что капитан будет сам, обязательно сам, прикрывать отход группы. Может быть, с ним останется Скориков. Мне тоже хотелось быть с ними. Я торопил паровоз. Все еще звучала в голове песня о нем, топка пылала, я приготовился... Прыжок.

Снег обжег лицо, и насыпь несколько раз перевернула меня, прежде чем опустить в сугроб. Растущий грохот. Состав рассыпался, вагоны катились вниз, в черные разводья реки. Лед, лопнувший после падения моста, поднялся с шальными столбами воды, льдины вставали ребром, переворачивались, падали вместе с фонтанными струями.

Я успел запечатлеть в памяти все это, пока лежал под насыпью, не чувствуя боли. Успел заметить капитана. С ним было двое наших. Они быстро сползли с насыпи. Капитан махнул мне рукой, стараясь быстрее приблизиться ко мне. Нас разделяло не больше ста метров. Я поднялся, пошел к нему навстречу.

— Уходи! — донеслось до меня.

И тут неожиданно повернулась земля, но я опять не ощущал боли. Шагнул вперед. Этот короткий последний мой шаг навстречу капитану длился целую вечность. Я так и не успел понять, увидел капитан, что я иду к нему, или нет. Застыло движение его руки, точно приветственный взмах, обращенный ко мне... Но в исчезающее это мгновение я догадался, что не успею к нему и никогда больше не увижу его, потому что не смогу шагнуть еще раз...

Так бы Лёнич, может быть, рассказал, если бы остался жив.

* * *

Быстро надвинулась весна, странно холодная, с синим пустым небом над лесом. Буйно цвели осины среди голых еще деревьев. Потом проклюнулась нежная зелень берез, клейкие молодые листья в рощах закрыли небо, висели в воздухе как зеленый туман, и в эти дни от голода кружилась голова. В перелесках скворцы по-хозяйски теребили старые листья. Появилась трава. С осин сошел цвет, они покрылись бронзовыми и красноватыми листьями.

По вечерам, пока было светло, капитан нередко читал. Однажды я увидел на топчане перевод Мольте, в другой раз — книгу по артиллерийской подготовке. «Не забыть бы!» — пояснил он. Я просил у него книгу, раскрывал ее, но ловил себя на том, что не смогу сосредоточиться. Мысли убегали далеко-далеко. Какой смысл в моем существовании, если мы вынуждены чаще всего прятаться в чащобе? Гарнизон на станции усилился, у немцев появились бронетранспортеры; мы пока отсиживались. Уверен, что и капитан, уткнувшись в книгу, подспудно решал ту же задачу, что не удавалось решить мне: что делать дальше?

СОЛДАТСКИЕ СНЫ

Капитан уснул, и книга его осталась на шинели, которой он укрывался, и медленно поползла на пол. Я подхватил ее. Опять ко мне не шел сон...

Что снилось моим друзьям? Я попробовал угадать это, вспоминая их рассказы. Губы капитана чуть подрагивают, точно он с кем-то спорит. Можно уловить шепот, даже отдельные слова: судя по всему, снятся ему батарея и неприятельские танки, идущие на орудия.

Но вот слышится слово «стой», и я начинаю понимать, что идет учебная стрельба. Снова короткие команды, и где-то в глубине сознания спящего капитана возникают макеты танков, ориентиры... Кажется, наводчик неправильно выбрал точку прицеливания, и я несколько раз слышу слово «прицел», потом мне чудится, что капитан сосредоточенно изучает результаты стрельбы.

И вдруг жаркий спор, возгласы, и я догадываюсь, о чем идет речь. Капитан рассказывал об этом мне наяву, а не во сне. В довоенной книге о боевой работе артиллерии его возмущала некогда учебная задача. Будто бы обстановка задана была так, что в июле развернулось большое сражение к западу от Москвы и стороны не достигли решительных результатов. В учебной книге черным по белому было напечатано: «На главном направлении Волоколамск — Москва идут маневренные бои с переменным успехом. Южнее противник перешел к обороне на фронте Комлево — Воскресенки — Басюково и далее на юго-запад. Наши части находятся в непосредственном соприкосновении с противником, который с 25 июля усиленно укрепляет свои позиции». Далее в задаче вырабатывался план действий и принципы огневой работы.

О, я понимал смятение капитана! Учебное сочинение Кремкова и Бойно-Родзевича конца двадцатых годов вызывало в тридцатых по меньшей мере протест. Битва с противником под Москвой, под Волоколамском?.. Да этого быть не могло! Но в сорок первом действительность оказалась мрачнее условий учебной задачи. И губы капитана во сне сжимались, и сжимались кулаки, и тело его беспокойно вздрагивало под шинелью, и он закрывал лицо руками, точно защищаясь от невидимого слепящего света...

Я обернулся к Ходжиакбару. Ему, быть может, снились походы с археологами. Он снова видел серых варанов, тяжело топавших по песку. Только теперь огромные ящерицы, почти ящеры, не пугали его, а сами с опаской поглядывали на Ходжиакбара. Они как будто не узнавали его и спешили исчезнуть — вот уж и скрылись за барханами длинные хвосты, а края следов еще осыпаются под ветром. И вершина бархана курится совсем как вулкан, особенно если смотреть на нее снизу, лежа в палатке и высунув наружу одну голову.

Ходжиакбар видел во сне Дементьева, начальника экспедиции. Был он строг, бородат, молчалив, только казался теперь моложе, оттого, наверное, что сам Ходжиакбар теперь уже не мальчик. А как хорошо в палатке вечером, когда нагретая дном земля постепенно отдаст тепло и на небе, еще светлом, загора-

ются звезды! Как он хотел помочь Дементьеву разгадать тайну древнего орнамента! На каменных плитах — листья, изображения их полустерты. Три листа, еще три... Загадочный трилистник, о котором писал Али Ибн-Сина. Волшебная трава, излечивающая от любого недуга. Растение, возвещающее возобновление жизни. Как хотелось Ходжиакбару, чтобы такая находка далась им в руки... Открыть бы засыпанный песком город-храм, чтобы сразу все понять, чтобы найти дорогу в прошлое — ну не дорогу, так хоть тропу. И как это странно устроен мир до сих пор: люди чаще всего не знают, кто жил до них на том же самом месте. Хорошо, пусть прошла тысяча лет. Сколько же это поколений? Если каждое поколение посчитать за двадцать лет, то получится совсем немного, пятьдесят поколений... А где исцеляющая от всех болезней трава? Ее нет. Даже камни пока молчат. Отец, дед, прадед, считал Ходжиакбар, прапрадед... еще предки, их не так много, а нить знания прервана. Сколько еще скрыто от глаз человеческого под песками! Недаром хозяева здешних мест — вараны косятся на человека.

Хорошо в экспедиции! Пусть ты просто рабочий и только помогаешь воевать с песком, но зато тебе первому расскажет Дементьев о древней резьбе по дереву, об исчезнувших городах, о письмах согдийцев. Да, сумку, полную писем, нашла в развалинах башни экспедиция англичанина Аурела Стейна. О том, как почтовая сумка в далеком 313 году нашей эры попала в сторожевую башню, можно лишь догадываться. Гонцы укрылись там от врагов и, наверное, погибли. А письма — письма живут. И вот Дементьев снова держит в руках тот самый журнал, где опубликован перевод. И читает письмо, адресованное согдийцу Вурзаку Нанайдвару Канаку:

«...А теперь я сообщу вам о тех согдийцах, которые уехали во внутренние области, что с ними случилось, до каких краев они добрались... В Друане живет сто человек из Самарканда. В Кучане — сорок человек... Господин, вот уже восемь лет прошло с тех пор, как я послал во внутренние области Сатарака и Фарна. Три года назад я получил от них известие: у них там все в порядке. Но с тех пор, как случилось последнее несчастье, я не получил ответа на мой вопрос, как им живется.

Четыре года назад я послал туда еще одного человека по имени Артихвандак. Караван покинул Кучан, но задержался в пути на шесть месяцев. А затем, когда они добрались до Сатарага, индусы и согдийцы, которые были там, все умерли от голода. И тогда я послал Насына в Друан. Но с ним произошло большое несчастье: он был ранен... Берегите закрытую кожаную сумку и сообщите о ее доставке. Вознаградите Вурзака...»

Автора письма звали Нанайвандак. Кто он был? Кто были поименованные в письме Вурзак, Артихвандак, Фарн, Сатарак, Насын? Ходжиакбар запомнил лишь имена. Или, может быть, Дементьев что-то рассказывал о них? Они все куда-то исчезают... Вурзак... Ву-рзак. Куда они удаляются? Ходжиакбар ворочается во сне, вспоминая слова согдийского письма. Все неразборчивее становится шепот. И вот уже вместо песков перед мысленным взором его раскинулась огромная снежная пустыня, над ней — темные фонтаны разрывов...

Виктор Скориков мог любоваться во сне стремительной пер-

спективной сиреневых загородных шоссе под Жуковском и Раменским, зеленым аэродромом у Быкова, где он упросил однажды знакомого летчика и тот взял его в полет. Странное дело, Скориков не узнал с высоты ни городка, ни шоссе, по которому он гонял на велосипеде, ни Раменского, ни знакомых озер и ручьев.

Стояла летняя жара. Хотелось в отпуск, а он медлил. Потом грянула война. Спутались планы: смутно стало на сердце, он похудел, привык курить, с работы домой не спешил, а в июле отпросился с завода в военкомат. Его встретили прохладно: восемнадцати ему еще не было. Он не из тех, кто мог долго упрасивать. Отошел и стал ждать. Дождался вечера, снова подошел. Сказал: «Не уйду, пока не оформите. Мне отпусклагается, между прочим, так что время у меня найдется, ясно?»

Человек в защитной гимнастерке устало потирал виски, смотрел куда-то в сторону и норовил обойти Скорикова, преградившего ему дорогу. Потом вдруг поднял голову, взглянул в чистые, прозрачные глаза Витьки и рассмеялся: «Дурья голова, я от такой работы не только на фронт готов убежать. Ты знаешь... Да ничего ты не знаешь! Приходи завтра, отправлю!» Он быстро, не оглядываясь, прошел к выходной двери по коридору, остановился, глянул на Скорикова, еще стоявшего с прежним, нелепо воинственным видом, и крикнул: «Отправлю тебя к черту на рога!.. Отправлю, как пить дать!»

И ушел, убежал.

Скориков волновался. Дома — ни слова... Побежал в ларек взять сигарет на дорогу — и не успел. Потом задумался: правда шутка?..

Через несколько дней прощался с матерью, с друзьями. Начиналась для Скорикова новая жизнь, непохожая, впрочем, на военные действия: в этом он убедился вместе со мной под Вязьмой.

Кузнечик, судя по всему, снился бой, губы его раскрывались во сне, чтобы произнести слова доклада или команды; но не успевали слетать с них эти слова. Слишком быстро все происходило: пулеметные очереди были похожи на шквал, винтовки так и сыпали пулями направо и налево, молниеносно выскакивали из укрытий и засад атакующие, а отступление немцев было похоже на соревнования по бегу. Просто все было в снах-желаниях Кузнечика. Что же делать, если мы не брали его с собой на задания... После гибели Лёньчика командир твердо решил отправить его в тыл первым же самолетом. Мы плохо верили в самолет. Кузнечик — заранее ненавидел. Когда будет самолет, мы не знали. Да и будет ли?

* * *

...Летним воскресным утром я вижу себя и мать в пригородном поезде; мимо бегут окраинные заводы, склады, серо-зеленые заборы; в поезде тесно, мы стоим у двери, и мать держится за мой локоть. Сходим на станции, где пыльные тополя обозначают тропинку. Жарко. Лесом еще и не пахнет. Мы идем под серовато-голубыми кронами. Земля растрескалась. Впереди — деревянные домики из теса, несколько старых изб, покосившиеся

телеграфные столбы, в палисадах — кусты смородины, невысокие рябины, кое-где приютились яблони.

Вот он, дом Наденьки. Конечно, сразу купаться! Она держит меня за руку и ведет к реке. Деревья меняются, вырастают, впереди — настоящий сосновый бор, где стучит дятел, где под ногами хрустят сухие ветки, какие-то белые лишайники, жаждущие влаги. Меж редких оранжевых стволов летят к воде желтокрылые большие стрекозы. Расправляя неподвижные крылья, они могут лететь по инерции, как планер.

— Пойдем босиком! — говорит Наденька.

Я снимаю свои синие спортивные тапочки на резине, и колени подгибаются от колких лишайников, от касания сухой травы. Я останавливаюсь и смеюсь над собой.

— Отвык! — кричит она. — Отвык от леса!

— Ничего, сейчас пойдем... сейчас.

Я выбираю ровные, гладкие места, стараясь попадать ногами на сосновые твердые и надежные корни, подгибаю ступнями траву для мягкости, колени распрямляются, и я иду за Наденькой, не отставая! Теперь я чувствую, какой здесь чистый, даже резкий воздух, настоящий на смоле, на сосновых иглах, пронизанный светом, лучами, отраженными от теплых стволов, от нагретых голубых крон, от реки... Река!

...Мне снился красный закат над Клязьмой, тополиный пух, летевший, казалось, не по воле ветра, а по воле лучей, пронзающих лес. Я ловил его ладонями и вдруг нечаянно набрел на такое место, где он белел, точно сугроб. Там сизые корни сосны жадно держали землю, и меж их лапиц — легчайший тополиный пух, целая гора!

Как плясало солнце, когда я бежал по лесу! Сбоку оно показывалось между стволами алым слепящим огнем, золотым шаром; полшага — и его уже нет; еще прыжок — и оно слепит снова. И так беги по сосновому бору хоть до самого его края, беги и кричи. Войново — так называется это место, куда мы поехали раз с матерью к знакомым. Сюда перебрались Наденька с матерью после смерти бабки Василисы. Там, на песчаном берегу Клязьмы, я ловил на удочку плотву. В полдень, искупавшись, мы с мальчишками и Наденькой сидели у воды, смотрели на быстрое течение, на то, как трепетно, мягко шевелится под водой трава, бросали хлебные крохи пескарям, шустро сновавшим у самого уреза воды. Светились глаза ее..

Мне снилась гроза в лесу, которая застала нас. Во сне я видел, как били тяжелые капли по песку, оставляя маленькие лунки, похожие на лунные кратеры.

ЛЕТНИЕ ЗВЕЗДЫ

Память моя выделявала странные штуки: оказывается, я помнил почти все, что когда-либо читал.

— У тебя хорошая память, — сказал однажды капитан.

— Нет. У меня память абсолютная.

— Да? Тогда тебя нужно чаще отправлять в разведку.

— Кого здесь разведывать? Четыре десятка фашистов и ржавый броневик. Мы ж не на фронте.

— Он от нас не уйдет. Расскажи-ка лучше, как в армию попал.

— Уже спрашивал, капитан, когда из окружения выходили. Доброволец я.

— Помню, помню. А дальше?

— Дальше — военкомат и Вязьма.

— Сразу отправили?

— Сразу. После того как военкома уломал. Скориков знает...

— Тебе что же, восемнадцати не исполнилось?

— Нет. В школу раньше определили. В июне было семнадцать. Первый курс МГУ окончил.

— После войны доучишься, Валя.

— После войны? А когда она кончится, ты знаешь, капитан?

— Не знаю. Думаю, года через два. Это лето выстоять... Одно лето.

— Почему только одно?

— Потому что воевать учимся. Заводы военные запускаем.

— Медленно как-то все делается. Нас там, на фронте, не хватает.

— Лето. Одно лето продержаться... По всему видно: не та пруть у них. Далеко не та. А было как... Сначала у них ладилось как в сказке. Вот у меня вырезка из журнала «Военный вестник». Третий номер за сорок первый год. Перевод немецкой статьи о танковой войне. Вот они эту войну и показали... Я это понял под Вязьмой. Так же было и под Минском. Хитрость невелика. Танки вместе с пехотой, под руководством общего командира, медлительны, не могут маневрировать, захватывать железнодорожные узлы далеко в тылу. А одни танки, не связанные пехотой, могут! В этой статье они называли танковые клинья стальной кавалерией — с кавалерийским духом.

* * *

...Такого лета, верно, уже не повторялось. Немцы обложили наш отряд со всех сторон.

Мы искали белые корневища, которые в деревне называют коробочками, молодой борщевик с гранеными стеблями, крапиву. Пробуя крапивные щи, поражался: мягкие, пресные, соли бы!.. Скориков по моему совету толоч ивовую кору, которую добавлял в табачок. Я на память читал строки «Песни о Гайавате», где говорилось о том, что кору ивы можно курить, и он это запомнил.

День ото дня хуже. Обшарили весь лес; я ходил с Кузнечником к дальней реке: пробовали ловить рыбу. Поймали трех пескарей. Обдирали молодую кору с осин, на полянах рвали стебли диких злаков.

По вечерам я кипятил воду в котле. Заваривал чай листьями мяты, кипрея, малины, зелеными яблочками с лесной орех, какими-то незнакомыми стручками, которые, по словам Кузнечника, съедобны. Скориков прозвал этот чай партизанским супом. По его словам, он не испытывал голода: помогало курево. По его теории выходило: голодать — плохо, курить — плохо, а то и другое одновременно — даже здорово. Впрочем, вид его свидетельствовал о другом: он съежился, потемнел лицом, глаза ввалились. Эх, дожидаться бы распутицы, настоящего русского

бездорожья, столь нелюбезного врагу, и дать отсюда стрекача на новое место!.. Выходить к реке стало опасно. Об этом меня предупредил капитан. Он не унывал, но держаться даже ему было трудно. Я считал дни, когда появятся грибы и ягоды.

Светлые, бесконечные, голодные вечера, лихорадочно блестящие глаза, последние рубежи надежды...

Почему лоси и зайцы по лесу скачут,
Прочь удаляясь?
Люди съели кору осины,
Елей побегі зеленые...
Жены и дети бродят по лесу
И собирают березы листы
Для щей, для окрошки, борща,
Елей верхушки и серебряный мох, —
Пища лесная.
Дети, разведчики леса,
Бродят по рощам.
Жарят в костре белых червей,
Заячью капусту, гусениц жирных
Или больших пауков — они слаще орехов.
Ловят кротов, ящериц серых,
Гадов шипящих стреляют из лука,
Хлебцы пекут из лебеды...

Когда умолкали птицы, я прислонялся к теплomu сосновому стволу на взгорке и наблюдал, как проступали на небе звезды. В июне на зеленоватом фоне отчетливо видны были голубая Вега, белые Денеб и Альтаир. Три главенствующих звезды образовывали огромный треугольник. Я различал созвездия Орла и Лебедя. Зажигалось еще несколько звездных огней, и небесные птицы устремлялись в свой вечный полет. Лебедь направлялся к Земле; некогда он внушил древним мысль, что это сам всемогущий Зевс летит на свидание. Орел расправлял крылья, словно он еще не устал от выпавшего ему жребия десять тысяч лет терзать печень светоносного Прометея.

Надо мной шуршали перепончатыми крыльями кожаны, редко-редко вздыхала от ветра земля, одетая травами и чутким подлеском. На юге, где оком был открыт, я различал оживавшую под светом звезд и луны стихию. Там сиял красный Антарес. Кусок неба, заключенный словно в раму двумя вековыми соснами, их темными ночными кронами, таинственно волнующимися под ветром, притягивал меня, как магнит.

В августе особенно заметен был Дельфин с его ромбом из четырех звезд. Выше и правее Дельфина, прямо над Альтаиром, мчалась Стрела, сверкая хвостовым оперением. Около полноты глубина неба увеличивалась, и взгляд проникал очень далеко; серебрился Млечный Путь; от запахов, которые доносились с южным ветром, кружилась голова. Что я искал там? О чем говорили эти ясные, свежие, пряные ночи?..

БИБЛИОТЕКА

Возможно, следовало бы рассказать, как осенью мы уходили из лагеря, потому что нас засекла воздушная разведка... Думаю,

что нас приняли за крупное партизанское соединение: вскоре пожаловали «юнкеры». На северном склоне холма кто-то насчитал потом сорок семь воронок. Описать этот осенний поход нелегко. Было много раненых, которых прикрывала вторая группа — в ней были Ходжаибар, Скориков и я. Помню, как мы шли оврагами, как мы буквально растворились в этой путанице перелесков, балок, речек и озер, а уставали так, что переходы казались бесконечными — и одинаковыми. Потом ударили морозы, выпал снег, а мы все еще кочевали с места на место. С ходу мы ворвались в небольшое село, которое было трудно обойти. Точнее, через него и пролегал маршрут в обход укрепленных пунктов. В бою был убит командир отряда Максимова. Командование принял капитан.

А потом — неожиданность... На скате холма, где церковь и синий снег, — кирпичный дом с копотью над выбитыми окнами... Обугленные ступени, обвалившаяся крыша, а внутри по гулким пустым коридорам гулял ветер, и книжные полки присыпаны снегом. На мертвых полках — живые книги. Их застал дождь, когда вспыхнул огонь. В этом я уверен. Иначе мне не притронуться бы к переплетам, под которыми спрятаны Тютчев и Толстой, Горький и Есенин, Блок и Шолохов. Вокруг — ни души, снег и снег, серый обледенелый лес у окоема, слепая дорога, осиротелые ветлы... Вне всякого сомнения, она мне не приснилась: я видел своими глазами эту библиотеку и шел по ее коридорам.

Потом шелестели страницы книг, торцы их приходилось отогревать пальцами, и тогда они начинали говорить.

Когда я присел у полок и стал читать, пришло чувство встречи после разлуки: я узнавал стихи, хотя понимал их теперь иначе, чем раньше. Именно тусклый свет из вылетевших напроцех окон как будто бы заставил вдруг засиять рифмы и строчки, и я проглатывал страницу за страницей, не замечал, как летит время. Наверное, я перенесся как бы в новое измерение, потому что оставались со мной лишь слова... Они звучали диковинно, но казались проще, чем в детстве, и я ловил себя на мысли, что понимаю теперь почти все: и скрытую тревогу, и ритм ищущей мысли — отступающей и снова летящей вперед на крыльях мечты. И слова теперь не разделяли мир и мою жизнь, а соединяли их, и у меня прибавлялось сил с каждой новой необыкновенной страницей, даже строкой.

Идут века, шумит война,

Встают мятеж, горят деревни,

А ты все та же, моя страна,

В красе заплаканной и древней...

Громче стал голос поэта, никому не слышимый до поры. Слова, непонятые раньше, вернулись ко мне и стали понятны в этом сумрачном свете из слепых оконных проемов. Потом я читал строки из дневников Блока. Теперь я понимал поэта.

«Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется Восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так изолгавшийся, — уже не ариец. Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары.

И наш жестокий ответ, страшный ответ — будет единственно достойным человека».

Я читал, и из этих слов вырастали «Скифы». Как же я раньше не знал!.. Я с удивлением открывал для себя явную связь строк с жизнью. С далеким восемнадцатым годом, с годом нынешним. Недаром поэта называли провидцем. Я как бы прикоснулся к его жизни. Слова навсегда оставались в моей памяти.

«Едва моя невеста стала моей женой, лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот».

В памятном восемнадцатом году — письмо Маяковскому. И я теперь пытался понять его, пока в прикрытых моих глазах бежали строки:

«Не так, товарищ! Не меньше, чем вы, ненавижу Зимний дворец и музеи. Но разрушение так же старо, как строительство, и так же традиционно, как оно. Разрушая постылое, мы так же скучаем и зеем, как тогда, когда смотрели на его постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете, проклятия времени не избыть. Ваш крик — все еще только крик боли, а не радости. Разрушая, мы все те же еще рабы старого мира: нарушение традиций — та же традиция. Над нами — большее проклятье — мы не можем не спать, мы не можем не есть. Одни будут строить, другие разрушать, ибо «всему свое время под солнцем», но все будут рабами, пока не явится третье, равно непохожее на строительство и на разрушение».

Но эти дикие слова были мне уже знакомы, я впервые прочел их у моей тетки в Москве... У нее целый шкаф со стихами, поэтическими дневниками, даже письмами. И красные, зеленые, белые корешки переплетов кажутся клавишами неведомой музыкальной машины...

Что записал бы поэт в своем дневнике, если увидел бы день сегодняшний? И смог бы я с ним согласиться?

...Я перелистал удивительную книгу, неведомо как попавшую в эту библиотеку. Устами героя Платон рассказывал об Атлантиде, огромной стране за Геракловыми столбами, среди океана, в бедственную ночь опустившейся на дно. Случилось это в десятом тысячелетии до нашей эры. Недалеко от моря в этой легендарной стране возвышалась гора, окованная красной бронзой, с дворцом-храмом. Шесть крылатых золотых коней украшали храм.

В докладе об Атлантиде на заседании Океанографического института в Париже в 1913 году геолог Термье доказал, что найденные на дне океана куски лавы в районе предполагаемой Атлантиды могли затвердеть только на воздухе. Эта древняя лава покрывала огромное пространство, когда оно еще было сушей. Предки гуанчей, инков, майя в древности могли соприкасаться с культурой атлантов. В древнем царстве инков над рекой Гуатаной был разбит удивительный сад. Деревья, кусты, цветы и плоды в саду были сделаны из металлов разных оттенков. Бабочки с золотыми усиками сидели на фантастических цветах и листьях, пестрые металлические птицы покачивались на ветвях, в густой серебряной траве прятались ящерицы и змеи со сверкающими узорами на гибком теле. Тихий металлический звон раздавался, когда налетел ветер, и тогда казалось, что

улитки и гусеницы медленно ползли по зеленоватым веткам и листьям, свесившимся над плантацией золотого майса. Но, как бы ни была тонка работа древних мастеров, ветер не мог сломать ни одного стебелька, ни одной былинки. Так бы и позванивала до сих пор серебряная трава над Гуатаной, если бы испанцы не уничтожили сад, существовавший до них тысячу лет.

* * *

Потом было несколько изнурительных дней, когда я спал на ходу и кто-нибудь поднимал меня после коротких привалов, — вот тогда и подвела меня память, и я ничего не мог поделаться с собой. Мне стало казаться, что я видел в библиотеке гораздо больше книг, чем их было на самом деле, и эту странность я мог объяснить только так: я мысленно переносил туда, в тот тревожный день, книги, которые читал и раньше.

ГОСПИТАЛЬ

Сероглазая, остриженная под мальчика, в свитере поверх гимнастерки — такой я запомнил Валентину. Это был первый человек с Большой земли. Мы помогали ей спрятать парашют, перенесли рацию. И вот я почувствовал — капитан стал отдаляться от нас, от нашей землянки, заглядывал к нам все реже и реже.

Последние сталинградские залпы покончили с вечной, казалось, тревогой. В начале мая мы принимали первый самолет. Ночью запылали жаркие костры на поляне, где ромашки белели, как первый снег. Черная сова тихо, быстро скользнула над куртиной ромашек и коснулась земли. Самолет...

В июне появился второй самолет; кто-то встречал его, разжигал костры, переносил раненых, — значит, и меня тоже. Самолет поднялся; я очнулся и увидел, как синело небо и горел на нем красный Антарес. На рассвете самолет качнул крылом, возникли светлые далекие леса.

...Аэродром. Автомобиль с брезентовым верхом. Серая грунтовая дорога. На выбоинах нас подбрасывает, кто-то стонет.

Солнце заглядывает под брезент. Вспоминаю, как капитан и Скориков вынесли меня с поля боя; кажется, я потерял тогда сознание.

Час. Два. Три. Солнце поднялось: на полу кузова пляшет узкая светлая полоса.

Останавливаемся.

Молодой парнишка и медсестра несут меня; впереди — холм, небо качается...

Явился белый храм на холме, с куполами и колокольней. От высоких святых ворот в обе стороны бежали стены монастыря, прихотливо повторяя извивы реки. На несколько мгновений приковал он внимание, но их я запомнил. Как белые, опоясавшие холм облака — соборы и церкви; как застывший звон — купола в голубом воздухе над рекой; подобна вечному древу колокольня, светлая и высокая. Абрис мягкий, певучий, закругленный. Желта еще земля от прошлогодней травы, темна вода в реке, отразившая рукотворное диво. Еще светлее, чем стены

храма, облака в голубой вышине. На древних закомарах — тени; печать сиротства, травяной горечи; желто-полынные кусты.

Тропа то опускалась, то поднималась над берегом, пока не вышла на прыгучий деревянный мосток, и снова поплыли купола, и святые ворота, и ветхие украшения стен с явными следами дождей, ярких летних лучей, скользящих по куполам, птичьих шаркающих крыльев, темных прикосновений ветров и бурь.

Госпиталь...

* * *

Вот мои соседи: Вася Кушин и лейтенант Сосновский, который в нашей палате временно, до получения документов.

Вася Кушин молчалив, застенчив, про таких говорят, что они тележного скрипа боятся. Однажды я читал ему стихи, он слушал с удовольствием. Но сам просить стеснялся... Был он, в общем, мальчонкой.

Лейтенант Сосновский чем-то похож на капитана. Вначале мы с ним было сошлись, но потом я несколько разочаровался, сравнивая его с капитаном. Тот был до жесткости цельным, неумолимым, даже фанатичным, но это соединялось с таким умом, что я про себя частенько думал: «Ну и голова...» Сосновский был каким-то разбросанным, что ли, растерянным, не чувствовалось в нем стержня, только в шахматы он играл мастерски. Я же недолюбливал эту игру, а если брался играть, то играл, почти не глядя на доску, по памяти, — и часто проигрывал; не память меня подводила, а мечтательность: я всегда мечтал о каких-то необыкновенных комбинациях при самых простых позициях и, конечно же, зевал и пешки и фигуры.

...Дело шло на поправку. Кость ноги срослась. Только в пояснице ощущалась иногда горячая боль, нередко — по ночам. Письмо матери, бабке, потом — от них... Мать писала: «Дорогой Валюша...» Потом слезы... о бомбежке... о работе. Вместе с заводом она была в эвакуации.

Теперь я был сыт, почти здоров, обут и одет с точки зрения многих, ибо мне не приходилось дрожать от холода. Теперь я любил выходить незаметно на деревенскую улицу, пробираться за околицу, смотреть на светоносную лазурь звезд, впитывать глазами бесконечную прозрачность северного неба, пытаться угадывать у окоема цепи озер, ярусы леса над их берегами, ловить дымки, птичьи вскрики, тайный свет вечера, вслушиваться в открытую глухую пустоту ночи... Поймаешь глазом красную звезду — и голова кружится от мысли, бегущей в небесную даль, а вокруг спят прозрачные березовые колки, проглядывают кое-где в темной траве белая кипень купырей, лученосные деревья обогревают ладони, и если встать под ними, то тепло враз обнимет и проникнет сквозь одежду.

Межень, середина северного лета...

От безделья, что ли, от неожиданного прилива сил бродил я вокруг монастыря, подолгу не спал, читал, но чаще все же открывал окошко: смотрел, слушал ночь, в подрамниках созвездий что-то искал — и находил...

Лейтенант махнул на меня рукой. Он напропалую играл в шахматы, чаще в соседней палате. Боец Кушин тихо лежал, и никогда нельзя было понять, спит он или нет. Один раз,

помню, он долго лежал с открытыми глазами, что-то неторопливо обдумывал, потом я почувствовал его взгляд: он наблюдал за мной. Не поворачивая головы, я поднял руку, и лунная тень мягко прошла через нашу комнату, и он видел ее и как замороженный наблюдал за ней...

* * *

На крыльце — танкист с обожженным лицом и я. Рядом выросла фигура военврача. Зовут врача Лидия Федоровна.

— На болоте столько ягод! — воскликнула она, остановившись на минуту. — Угощайтесь!

— Верните мою форму, — сказал я, — тогда я смогу сопровождать вас по ягоды. А то вас волки напугать могут.

— Точно, — подтвердил танкист с обожженным лицом. — Вы бы нас против волков брали с собой!..

— Ну как? — спросил я.

— Подумаю, — улыбнувшись, сказала она, и ее рассеянный взгляд скользнул по моему лицу. — Поправляйтесь, — сказала она.

— Прошу прощения, я уже здоров.

— Ладно... — как-то примирительно заметила она, — посмотрим.

На другой день я постарался попасть ей на глаза. Я стоял в бравой позе, опираясь незаметно на деревянные перильца, и ждал ее около часа.

— А, это вы... — Она замаялась. — Что вы хотите?

— Того же, что вчера: чтобы меня признали здоровым.

— Да вы что, разыгрываете меня?.. Я знаю о вас все!

— А по ягоды... как же?

— Вы хоть вон до той деревеньки доберетесь без посторонней помощи? — И она показала рукой на семь знакомых мне высоких рубленых домов в полукилометре от ворот госпиталя.

— Туда я доскачу даже на одной ноге, но все же быстрее вас...

Она молчала. Потом произнесла несколько волшебных слов:

— А вы могли бы помочь мне напилить дров?

— Я это сделаю без вашей помощи.

— Как это? — спросила она. — Вы же один...

— Да, я один, — сказал я. — Но у пилы две ручки, а у меня две руки.

— Очень остроумно, — похвалила она без иронии. — Значит, договорились. Завтра вечером.

* * *

Вечер был дивный, спокойный, августовский... Я ждал ее у крыльца, но, когда она вышла, я растерялся: у нее было другое лицо, очень серьезное, сосредоточенное; она, казалось, не заметила меня. И прошла мимо... потом оглянулась, сказала:

— Пойдемте, что же вы стоите?

Я пошел за ней. Она шла очень быстро, и нас сначала отделило десять метров, потом двадцать, потом сорок... Она скрылась в избушке, даже не оглянувшись. Я добрался до пали-

садничка и остановился у калитки. Она приоткрыла дверь и сказала:

— Входите!

Я вошел. Маленькая комнатка с невысоким потолком, одно окошко, деревянный столик, один стул...

— А второе окно? — спросил я.

— Это на половине хозяйки, — сказала она. — У нее сыновья на фронте, вот она и отдала мне половину избы.

— Ну и изба! — сказал я. — Настоящая избушка на курьих ножках. Ее и не видно со стороны. Где дрова? На дворе?

— На дворе трава, на траве дрова... — зачастила она, и лицо ее стало чуть приветливее. Ей было за тридцать, может быть, тридцать пять.

Какой она была человек?.. Лицо ее говорило об этом просто и прямо. Были у нее темные, продолговатые, чуть раскосые глаза, всегда как будто немного сощуренные, и казалось, что в них жила усмешка. Лоб ее, со смуглой кожей, покатым, невысокий, с продольными морщинами, но не от возраста, был как бы зажат между бровями и жесткими волосами. Лицо ее было широким, но подбородок казался заостренным, выдавался чуть вперед, и самое окончание его было закруглено. А кости лица и крепкий, крупный нос создавали странный, неповторимый рельеф, который вечером, в тусклом свете керосиновых ламп, казался иным, чем днем. Вечером она выглядела намного старше, лицо ее делили тонкие тени и полутени, глаза становились блестящими, узкими и выпукло-напряженными. Все эти известные или полупознакомые женские штучки с деланным выражением лица и голоса ей бы не подошли. Голос у нее был низкий, иногда в нем угадывалась какая-то затаенная певучесть и что-то еще, необъясненное. Мне так казалось.

Я пошел за ней на двор, и мы с полчаса пилили тонкие осиновые и березовые деревца, сваленные позавчера с воза, они были с ветками, с листочками и напоминали хворост.

— Кто это вам таких дровишек привез?

— Да мальчики деревенские.

— Командируйте меня в лес! — попросил я.

— Да незачем, они еще привезут — настоящих, только позже... — ответила она серьезно. — Пойдемте в избу.

Она поставила самовар. Стемнело. Серый полупрозрачный вечер с туманными полосами... В избушке было еще темнее; она зажгла лампу; потом пили чай с ягодами — черникой и малиной.

— Идите! — приказала она. — Вы смирный, и я, пожалуй, возьму вас по ягоды.

Я смутился, вышел на крыльцо, она вышла за мной. Я попрощался, обернулся — она стояла на крыльце... Поздно вечером я снова увидел ее в госпитале, но она даже виду не показала, что мы пойдем по ягоды...

Прошел день, второй. Я опять встретил ее.

— Что же не заходите? — вдруг сказала она. — Ягоды сойдут, будете жалеть.

Вечером я выследил, как она пошла в деревню... Волнуясь и проклиная мальчишескую почти робость, краснея от каких-то

Неясных предчувствий, я прокрался за ней и постучал в дверь избушки. Мне долго не открывали... Я позвал:

— Лидия Федоровна!

Молчание.

Вдруг дверь тихо-тихо скрипнула, приоткрылась — никого. Я вошел. Она сидела у окна и смотрела на меня так, как будто я был прозрачным. Я поздоровался, она встала. На ней была черная кофта, черная юбка, волосы были расчесаны так, что скрывали половину лица. Не стесняясь меня, она подошла к зеркалу и, наклоня голову, стала присматриваться к себе.

— Да что вы стоите! — воскликнула она. — Сядьте. Расскажите о себе...

Я сел на стул и стал рассказывать, но рассказывал я как школьник, не мог, и все... Что-то изменилось во мне, и она так пристально смотрела, что у меня закружилась голова, и лицо ее вдруг непостижимым образом отделилось от меня, но она при этом не пошевелилась. Я отвел глаза...

— Зачем вы пришли? — спросила она.

— Вы мне нравитесь, — сказал я, вспыхнув от своих же неожиданных слов.

— Ну и что? — спросила она, и мне показалось, что лицо ее побледнело.

Она прикрыла глаза. И я понял, что могу не отвечать... Я почувствовал, что веду себя глупо, но все же сделал этот странный шаг, выученный из книг, — встал перед ней на колени. Она сидела, опустив голову, но через минуту притронулась рукой к моему лицу, волосам — самыми концами длинных пальцев, и я чувствовал колющее, необыкновенное тепло, и потом точно ветерок пробежал по моему лицу...

Не отрываясь, до рези в глазах я смотрел на нее. Она наклонилась, и мы поцеловались. Она отстранила меня.

* * *

...Чем упорнее я гнал от себя странные видения, посещавшие меня в минуты растерянности, тем упорнее они возвращались в самый неожиданный час. Наконец концы сошлись с концами. В ее комнате за чаем вдруг поплыли стены и потолок, я перестал слышать ее, видел, что она говорит, но не понимал... Так прошла минута, слух вернулся ко мне, я переспросил ее:

— Я не слышал... не понял, повторите, пожалуйста!

Это недоразумение ускорило развязку.

— Я обижусь, смотри... — вдруг нахмурилась она. — Ты здесь или где-то далеко-далеко?

Она подошла и положила обе руки мне на голову и потом сжала ими щеки и прижала меня к себе. И молчала. И я послушно ждал, но тут возникли странные образы, которые делают кровь густой и горячей, и мои руки потянулись к ней... Но я не решался ее обнять, и получилось так, что я трусил... Потом вдруг удар как ток, ладони мои почувствовали тепло, как-то колющие искры кололи мою кожу, я закрыл глаза. Снова закачалось все вокруг, но теперь тому была причина, и все быстро изменилось после ее поцелуя: видения слились с ней, и руки мои уже не просто тянулись к ней, а искали вслепую сами по себе

источники этой необычной, странной, электрической теплоты, исходившей от сильного тела. Она молчала, и это действовало на меня как признание. Она убедилась в моей слабости. Я доверился ей, все исчезло, кроме нее, но, конечно, я хотел всего этого даже больше, чем она, во всяком случае сейчас, когда она по-прежнему стояла и сжимала мои щеки ладонями. Она отняла свои руки и опустила их вдоль тела, и это было неожиданно красиво и красноречиво, и последняя моя опора исчезла; она была всем — и ничем, она была сейчас неуловима, как бабочка, ее мысли могли витать где угодно, она могла наблюдать за мной и собой и могла не видеть меня. Но тело ее, как манекен, неподвижное, уже заполнило всю комнату... все вокруг меня; память вспыхнула в последний раз и угасла, как пламя гаснет в лампе, осталось только волшебное настоящее. Выпуклые белые и темные контуры, шуршание одежды, ослепительные и затененные пространства, изгибы ее колен, ног — на белесом плоском фоне, потом какие-то шероховатые лунно-белые льдины, открывшиеся мне, запоздалые поцелуи, возглас, минутная тишина. Потом — забвение, остановившееся время...

* * *

Через два дня — ягоды... Сумерки. Марь. Нестерпимо белеют цветы. Ровный свет без теней, матовое небо, запахи с лесных полей. Несказанный северный вечер...

За ней я шел след в след и удивлялся инстинкту, выручавшему нас в самом погibelном месте: за нами тянулась через мхи нитка ямок, заполнявшихся темной прохладной водой. И вот прыжок, еще один, и она на твердом месте, держится за стволы березы, подает мне руку...

— Как это у тебя получается? — спрашиваю я.

— Сама не знаю. Ночью иду как днем. — Мгновенный взгляд черных раскосых глаз. — Ты что, испугался?.. Нет? Ну пошли, немного осталось.

Мы вышли на сухой пригорок, где тянулась к небу сосна.

— Стой, — сказала Лидия Федоровна и, облокотившись на мое плечо, наклонилась и грустно засвидетельствовала: — Ноги-то мокрые и у тебя и у меня.

Она прижала меня к сосне, и я не мог уловить отдельно ни ее, ни своего дыхания, в этом месте звуки глохли, я не слышал даже ветра, хотя на бугре, где мы стояли, трава гуляла волнами, а стороной сбегала к болоту рядыня тумана. Мы были похожи на двух зверей, игравших под деревом: я устало отбивался от ее рук, под тяжестью которых моя шея клонилась долу, а потом я выпрямился, но сильные руки завладевали мной, она глухо смеялась, и я наконец услышал ее неровное дыхание. Она остановилась, словно раздумывая, быстро зашла со спины и обхватила шею рукой.

Я ощущал запах ее рук — тонкий запах загара, ягод, ключевой воды... Небо надо мной вместе с проступившими звездами сделало медленный оборот, потом — в другую сторону. Я говорил ей какие-то обычные, вероятно, заученные слова. Что-то мешало мне произносить свои. (Я не знал еще, как будет выглядеть из будущего, моего будущего, этот эпизод. Я знал толь-

ко со всей убежденностью: оно иное — очищенное от примесей и разных случайностей.)

Были, кажется, три или четыре дня, когда я оставался только с ней. И сегодня, я знал, будет так же... Мы быстро дошли до ее избы, и едва она успела закрыть дверь, как я нашел слова... Потом стремительные движения, низкий, трудный, непонятный шепот, мы оба спешим убедиться, как много скрадывает одежда в ее теле. В первые же минуты я чувствую величавое течение потока, подхватившего меня, исчезают берега, остаются белые холодные льдины, за которые я держусь... Какие-то странные законы управляют ими. В этом потоке мне все незнакомо, и я, словно рыба, пытаюсь разведать его глубину, пытаюсь плыть встреч, но тут же понимаю, что бессилен это сделать: у потока нет дна. Меня несет, и я вынырываю у этих приглубых берегов, чтобы глотнуть воздуха, но тяжелый пласт топит меня, я задыхаюсь; вокруг сухое шуршание, в комнате вокруг меня летают какие-то светляки, на потолке бегают пятна потревоженного света, занавеску на окне треплет ветер. Минута ясности: ее черные большие глаза, выпуклые губы, белая грудь, ослепительные крепкие зубы, волны тяжелых, покалывающих шею волос. Спешу придумать слова для этого выдуманного пространства; она догадывается об этом и мешает мне. Она возвращает меня к себе из выдуманных мной далей. Снова пленительное напоминание о происходящем, потом — еще, еще... странный, назойливый шорох, светляки на потолке. Но вот я начинаю приывать к ней. Долгий болезненный поцелуй — снова минута ясности: белое тело, черный шатер волос. Теперь я с ней. Выдуманное исчезло.

...Рано утром до меня донесся далекий гудок паровоза, я жадно вслушивался. Показалось, что слышен стук колес.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Все было тайной: она сама со своим особым характером, ее прошлое, ее капитанские погоны, ее слова — простые, обычные для всех и какие-то загадочно-двойственные, с тайным смыслом, — для меня одного. Не оттого ли я вспоминал их так часто?.. Когда мы оставались вдвоем, она говорила со мной грубовато-снижительно, и ничто не могло побудить ее изменить тон.

Она проходила мимо, иногда даже не взглянув на меня. А вечером, когда я упрекал ее в этом, она с удивлением смотрела на меня и говорила:

— А ты что хотел? — И предлагала мне папиросу.

Что это было? Не знаю. Со всей силой эгоизма наталкивался я на ее таинственно-безучастное отношение и как будто со стороны наблюдал за происходившими во мне изменениями. Может быть, так и надо?.. И я утвердительно отвечал на этот вопрос, и тем охотнее, чем скорее мне предстояло с ней встретиться. Впервые вел я странную, двойную жизнь, пряча от себя самого скрытый смысл происходившего. Я мог остановиться посреди палаты и вспомнить — и покраснеть: даже воспоминания были постыдно яркими, неожиданными. И я всегда ждал встречи с ней, заискивающе ловил ее взгляд в коридоре, на

крыльце, ненавидел себя, но считал часы и минуты, отведенные сю для меня.

Эта загадочная, полная еще тайн жизнь переделала меня, сделала острее, чувствительнее, я ловил на себе взгляды, которые раньше остались бы незамеченными — и необъясненными. Настороженно поглядывал на меня Сосновский, с испугом — Вася Кушин...

Я улавливал значение не только ее слов, но и интонаций, я начал понимать оттенки их, но у нее всегда находилось такое — и слова и поступки, — что я не уставал удивляться тому простому факту, что айсберг всегда скрыт на девять десятых под водой. Айсберг — это жизнь. И я начал думать о смысле жизни все чаще, все решительнее — и в этом тоже повинна была она. Легонько прислонив меня к стене, она спрашивала: «О чем ты думаешь?» И я отвечал ей: «О тебе». Такова была моя защитная реакция, наверное. Но она понимала мой ответ по-своему — как именно, оставалось загадкой.

И вот настал день, когда я осудил себя бесповоротно. Уж не потому ли меня держат в госпитале, что я нужен ей?

Воспоминания о вечерних встречах, казалось, прожигали меня насквозь. Днем я ненавидел ее и себя, вечером с упоением слушал ее низкий голос.

Она почти не говорила о себе, и я был этому рад. Все же, мягко улыбаясь, она рассказала о Ростове, где родилась, о муже, с которым развелась очень быстро: «необщительный», «ревновал»; рассказала о каком-то друге, который был на фронте и писал ей. Обо мне она сначала подумала, что хорошо бы иметь такого сына, но теперь думает, что я совсем взрослый, а сын ее мог бы быть намного моложе. Здесь она сбилась и замолчала, потрогала свои сережки с фиолетовыми камнями, подошла к зеркалу, бросила быстрый пристрастный взгляд на себя, и мне стало неловко из-за этих серег, из-за ее юбки в клетку, которую я видел на ней впервые, кашемирового платка, который она достала из комодика и стала примерять и спрашивать меня, хорошо ли. Странная, исключительная минута, точно она перестала быть сама собой: большим, высоким и далеким от меня человеком, расположенным ко мне дружески и так же дружески-нисходительно, прижав меня иной раз к стенке, выяснявшим, могу ли я устоять под нарочито грубоватым натиском, и если да, то где эта граница, когда теряешь себя и подчиняешься другому. Не было в этом ни зла, ни добра, ни участия, скорее всего лишь эгоистическое желание увидеть в другом отражение своей власти. И тогда я спрашивал себя: «Неужели ей так надо — ставить меня на край пропасти и наблюдать за мной?» Только позже я понял, что иначе и нельзя. Все было predetermined. Это ведь не было любовью. Она убийственно спокойно сказала однажды:

— Знаешь, сколько у меня этого не было?.. — Вопрос был риторическим, она не собиралась на него давать ответ. Но я стал понимать постепенно, что не всегда оправдывал ее надежды.

Приходили раздумья, какие-то мучительные воспоминания, я размышлял о том, что именно потерял здесь с ней, это были

глуповато-наивные сентенции в духе старых романов. На другой день все становилось на свои места...

Все повторялось.

...За моховым болотом мы переправились через медленный глубокий ручей — вода прорыла среди сплетенных корней ложбины, извилистые канавы. Лидия Федоровна, держась за голые уже ветки ольхи, перешла на тот берег по тонкому стволу поваленного над водой дерева. Она подала руку, но я не хотел этого, отстранил ее и угодил бы в бочаг, если бы женщина, чьей помощи устыдился, не поймала и не перетянула меня к себе. И как только удалось это ей!

Поляна, заросшая по краям дремучим иван-чаем... Он здесь почему-то безбжно вытянулся и достигал чуть ли не до плеч. На этой поляне мы целовались, и небо над нами качалось, и зеленые плети стеблей ласково стегали нас по лицу, и снова ее алые прохладные губы, странно белое теплое тело, летнее небо... И купание в озере с мягкой торфовой водой, где мы стояли долго лицом друг к другу и говорили о чем-то, и я перестал понимать в конце концов смысл ее и своих слов. Голос ее стал тихим, настороженным, словно она прислушивалась к чему-то, глаза — выпуклыми, глубокими, как ночью, зрачки ее расширились, волосы ее закрыли пол-лица, намочили их пряди, прилипли к телу, груди казались еще больше и белее. Шепот и поцелуй, какая-то долгая дрожь, молчание, опять бессвязные слова, качание голубовато-седого стебля на фоне слепого неба...

Мы собирали крупную янтарную морошку. Ягоды были тяжелые, вкусные, я ел их и после того, как язык мой стало вязать от желтого сока, от мелких твердых зернышек: пришел какой-то азарт. К вечеру болото стало темно-голубым, высокие хвощи по краям мягко очерчивали его прихотливый контур. За ними высилась стена леса, и свет косо падал с широкого овала светившегося еще неба. Над нашими головами — розоватый дым облаков.

Потом небо над темными зубцами леса стало зеленоватым.

Я смотрел на него и удивлялся: не знал я еще в тот вечер, что небо бывает двадцати трех оттенков.

Мы вышли на сухое место, нашли старую тропу, заросшую красной сорной травой, лиловыми лесными колокольцами, молодыми, едва заметными всходами березы... Под ногами — легкий, полупрозрачный пар, туманом это никак не назовешь. Далекий протяжный крик птицы... Вокруг — полуявь, несказанное. С темнотой пришла усталость, часа два мы проплутали, дали крюк, вышли опять к болоту. Вскоре нашли настоящую тропу, которая привела к монастырю со слабо светящимися окнами, темной крышей, белыми стенами, и мы едва узнавали его, так преобразила его игра света.

В комнате было сухо, жарко. Она ушла, я задремал, проснулся, увидел голубое окно с летними звездами, ее волосы, слышал ее голос, но разобрать было невозможно: явь это или сон? Суматошная ночь с объяснениями, шепотом, поцелуями, серо-синяя, долгая, потом — пурпурная заря... С ласточками за окном, с лесным эхом. В окно ударила бронзовка, сверкая изумрудными доспехами.

Из тайников сознания всплывает злое, перекошенное лицо танкиста, не лицо, а маска — он горел в танке. А я... Это ко мне обращены были гневные его слова, это его глаза обвиняли меня.

— Ах, мать... тебя и твою шарочку, играть вздумали, я тебе... распригожий такой!

— Учти, не промахнись! Не меньше твоего на фронт хочу, да ты что!..

Там, в деревянном сарае госпиталя, мы схватились за поленья, и я защищал себя и ее, больше ее...

Спасительная, святая мысль: бежать отсюда!

Но я знал уже, что без предписания меня поймут патрули, я просто не успею добраться до линии фронта.

Как-то раз я сказал ей... сказал, что ненавижу ее: без нее меня бы уже выписали из госпиталя.

МОСКВА

Постукивая колесами, посвистывая, товарный поезд вез меня в Москву. Ночью миновали Ярославль. У самой Москвы, где-то за Пироговским плесом, поезд остановился. Я подождал час, соскочил с подножки и пошел пешком.

Утро... Вдали угадывалось дымное небо над Москвой, там словно сгущались оптически плотные массы воздуха, и синева, смешавшаяся с дымом, похожа была на растущую тучу. Я шел вдоль насыпи, и из-под ног моих выпрыгивали пригревшиеся кузнечики, солнце поднялось и грело по-настоящему. Наконец я выбрался на задворки вокзальной площади, зашел в столовую и попросил стакан кипятку. Я стоял, прислонясь к стене, и в окно видел мой город... Что-то сжало сердце, когда я пешком шел вдоль трамвайной линии, и вдруг рядом прозвенел и остановился трамвай, и над ухом раздался голос:

— Эй, Валентин, ты, что ли?

Я обернулся на голос. Знакомая девчонка из соседнего двора, Тамарка Пахомова, смотрела на меня своими блестящими, как бусины, глазами из распахнутой трамвайной двери. Я вскочил на подножку.

— Ты откуда?

— А ты? — опешил я.

— Работаю на этой линии.

— А я оттуда, — неопределенно сказал я и так же неопределенно махнул рукой в сторону вокзальной площади.

— С фронта, что ли?

— Из госпиталя.

— Тебе куда? — спросила Тамарка. — Домой, что ли?

— Нет. На Гоголевский бульвар сначала.

Я увидел, как лихо она крутанула штурвал и повела трамвай. У метро она остановила, сказала:

— Теперь тебе до станции «Дворец Советов».

Я попрощался.

Добрался до штаба партизанского движения без особых приключений, успел заметить два-три приветливых лица, и этот ав-

густовский день в Москве уже начинал входить в мою жизнь особой страницей.

Через несколько минут я стоял перед человеком в старой гимнастерке без петлиц, наголо бритым, с усами и добрыми темными глазами. Когда он обратился ко мне, я уловил как-то сразу, что он сам не прочь бы вырваться куда-нибудь на партизанскую волю. Я сказал, что хочу в артиллерию, упомянул о части, в которой начал службу, о капитане, с которым был в партизанах, и добавил, что он-то, наверное, уже командует дивизионом.

— В артразведку бы тебя... — Человек, определявший сейчас мою судьбу, отложил предписание и задумчиво покрутил ус, обдумывая свою и мою идею.

Позвонил кому-то, занес в блокнот мелким косым почерком две неровные строки и, обернувшись ко мне, не отрываясь от трубки, сказал:

— Поедешь вот по этому адресу... Там пересыльный пункт.

Я попрощался с ним. Часа через два получил назначение и оказался перед проходной у высокого забора где-то в районе Красноказарменной улицы. Справа от меня дымили трубы «Серпа и молота».

Командир огневого взвода Антонов, молодцеватый и сухощавый лейтенант, бегло осмотрел меня, одобрительно кивнул и отправил на занятия. Вечером я не находил себе места. Забрался на третий этаж соседней, самой высокой казармы и остановился на лестничной площадке. Окно выходило на Лефортовский вал. За ним стояло багровое зарево. Солнце уже село, и слабейший свет зари пробивался через дымную завесу над заводским двором. Здесь меня заметил Антонов.

— Ты что, Никитин?

— Так, товарищ лейтенант... Там дом.

— Дом? Какой дом? — не понял он.

— Там... за «Серпом». Сейчас одна бабка там живет.

— Ты что, дома не побывал, Никитин?

Я рассказал лейтенанту, как все получилось: как утром приехал на вокзал, потом — в партизанский штаб, на пересыльный пункт.

— Успел бы и домой заехать... горе луковое.

Я чувствовал себя мальчишкой.

— Ну вот что, — рассудил лейтенант, — завтра утром подойдешь ко мне.

...Рано утром я шагал уже по Золоторожскому валу. Слева дымили на заводских путях паровозы; старые, покрытые копотью корпуса с выбитыми стеклами гудели и светились синими огнями в проемах высоких окон. У меня в кармане гимнастерки лежала улынительная. Антонов заполнил ее утром, подмигнул и сказал:

— Если у бабушки табачок цел... Понял?

— Понял, товарищ лейтенант!

Он встал из-за столика, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Сидим тут... без матчасти. И сколько просидим, неизвестно. Но к отбою чтобы как штык!

Я вышел на заставу Ильича, свернул направо. Передо мной лежала площадь Пряикова, на крутом берегу Яузы, на зеле-

невшей горе, раскинулся Андроников монастырь, полуразрушенный и поникший. Я прошел по скверу, попал на Тулинскую улицу, потом повернул на Малую Андроньевскую, увидел свой дом...

Подошел к окну, постучал. Моя бабушка Ольга Петровна выглянула из окна, отдернув занавесочку, с минуту присматривалась ко мне, и глаза ее засветились. Я зашел в ворота, поднялся на ступеньку, подошел к двери, и тут дверь открылась, и бабушка, плача, причитая, вытирая слезы, приговаривая, засуетилась и побежала зажигать керосинку, и побежала к комоду, чтобы показать мне письма дяди моего, фронтовика, и письма моего двоюродного брата, и засыпала меня вопросами, на которые я не успевал отвечать, и потом наконец села и стала рассказывать о моей матери. И хотя я почти все знал о ней, я внимательно слушал и читал письма матери из эвакуации, а потом она рассказывала о моей тетке, которая жила на Землянке, о себе самой, о соседях...

— А я вчера Тамарку Пахомову видел, — перебил я ее.

— Брат у нее на фронте, давно не пишет... — сказала бабушка. — А я вот в очереди с матерью Кости Бескова часто стою, помнишь?

— Помню, как же! А как Ромка?

— Ромка на фронте. Замолчал что-то.

— Климовы?

— Оба на фронте, и отец и сын, а младший еще в школу бегают.

— А я ненадолго — проездом. Завтра уезжаю... даже сегодня.

— Да как же так быстро-то?

— Да вот так, к сроку поспеть надо... Давай-ка ключ от сарая, дров нарублю.

— Да дрова-то не получены еще, Валуша. На рогожском складе дрова надо получить...

Я получил дрова, привез и потом до обеда колот их у нашего сарая, где теперь врыты были противотанковые ежи, сваренные из рельсов.

Ко мне подошел паренек в большой серой кепке.

— Валентин, здорово!

— Ты кто?

— Я Серега...

— Серега! Я тебя не узнал.

Это был Сережка Поликарпов с нашего двора. Дом, где он жил, выходил на Библиотечную улицу. Там росли клены, и мы когда-то, лет пять назад, еще собирали кленовые вертушки и пускали их в полет с пожарной лестницы. Теперь он стоял передо мной худой, в длинных широких брюках, сильно выросший. Серые прищуренные глаза его смотрели совсем по-взрослому, хотя он был моложе меня на три или четыре года.

— Закурить хочешь? — спросил он.

— Откуда у тебя?

— Да я работаю... зарабатываю.

— Ну давай!

Мы закурили. Полдень давно миновал, и над кирпичной стеной, отделившей наш двор от склада, с тонким, едва уловимым свистом проносились стрижи, их черные острые крылья резали синь неба свободно и уверенно: два-три движения, совсем лег-

ких, даже небрежных, — и стриж взмывал над нами и проносился, наверное, уже над Крестьянкой или над Таганкой.

— Где работаешь, Серега?

— Да там... — Он замялся, и глаза его как будто раскрылись шире, и в них было что-то от сознания собственной вины, я это угадал, меня не проведешь.

— Ну, так?.. — спросил я снова.

— На базе... — Он сплюнул. Помолчал и добавил: — А ты как на фронт попал?

— Да очень просто. Пошел куда надо и потребовал.

— Меня вот не взяли... — Он затаился, потом неумело выпустил дым и закашлялся. — По возрасту. Ты в отпуск?

Я рассказал.

— Здорово! — воскликнул он, когда я заговорил о партизанах, о капитане, о друзьях. — Ты теперь туда? — спросил он восхищенно. — На фронт?

— Да, получил назначение.

— А я твоей бабке дрова здесь колоть помогал, в прошлом году. Спрашивал о тебе. Она сказала, давно не писал, я уж подумал, что... А может, мне?.. — Он остановился, потом взглянул на меня, но я не сразу понял значение этого взгляда.

— А чего! — сказал я. — Давай в военкомат!

— Ладно. — Он сплюнул и отвернулся. Заломив кепку, смотрел на вылетевших чиграшей: на соседнем дворе была хорошая голубятня, и было странно видеть в небе совсем мирных, медлительных птиц. — Давай помогу, — сказал Серега.

Он вырвал у меня топор и довольно ловко расколол полено, потом еще несколько.

— Я стрелять умею.

— Да ну?

— Валь, сколько еще война продлится, скажи?

— Теперь уж недолго ждать.

— Недолго, все так говорят. Ты скажи, в каком году: в этом или в следующем?

— Думаю, в следующем. Должно быть, в следующем, Серега.

— Нужно, чтобы в этом закончилась, — сказал Серега. — Так?

— Так-то оно так... Повоюем — увидим.

— Валь!..

— Что?

— Да нет, ничего... Поезжай.

— Чудак ты, а куда ж мне деваться?

...Я взял узелок с полотенцем, мылом, чистой майкой и пошел в баню к Рогожскому валу, а когда вернулся, то увидел накрытый стол, и на льняной скатерти бабкин сервиз, и блюдечко с вареньем из рябины, блины из тертой картошки. И сухари, и пастоящий чай... Баба не уставала выведывать у меня про мое житье-бытье, про мои приключения и называла меня мытарем. А я сказал, что мытарь — это сборщик податей.

Я сел с книгами, и она смотрела на меня, и мне стало неловко. Жалела она меня, что ли?.. Снова перечитал знакомые стихи и теперь, пожалуй, запомнил наизусть так много, что мне хватило бы этого запаса надолго: вспоминай и слушай, как звучат ясные рифмы Блока и Тютчева.

Поехал к Татьяне с биофака. Она жила с матерью у Крестьянской заставы, и на первом курсе мы иногда ездили с ней вместе на занятия. Я долго стучал в дверь. Открыла ее мать. Надежда Кирилловна, и долго всматривалась в мое лицо.

— Не узнаете? Это я, Валентин.

— Валентин... узнаю. А Таня скоро придет. На дежурстве она.

— Что нового?

Она рассказала, что биофак эвакуировали в Ашхабад, потом часть людей вернулась. Зимой вернулся профессор Формозов. Вроде бы кое-кто остался в Свердловске. Летом Танюша была в экспедиции, а отец давно не пишет... «Отец давно не пишет», — машинально повторил я про себя, спохватившись. сказал:

— Напишет!

— А правда так бывает, что письма долго не доходят? — спросила Надежда Кирилловна.

— Очень часто именно так и бывает, — сказал я, — ведь это война...

— Я тоже об этом думаю. Танюша к твоей бабке заходила, и та ей сказала, что от тебя тоже долго писем не было, а потом вдруг написал...

— Да, и со мной было, — сказал я. — Я ведь в окружение попал, потом к партизанам.

— Ты в партизанах был? — всплеснула она руками.

В эту минуту дверь тихонько скрипнула и вошла Таня... Татьяна. Мы прошли в комнату, она села за стол, подперев кулаком подбородок, и молча смотрела на меня, точно хотела прочитать по лицу моему все ответы на волновавшие ее вопросы. А я только здесь, увидев ее и Надежду Кирилловну, вспомнив бабкины рассказы о соседях, начал представлять подлинные масштабы событий. Выходило так, что больше половины мужчин было на фронте.

Надежда Кирилловна рассказала о налете в августе сорок первого, когда с «юнкерсов» бросали осветительные ракеты и зажигательные бомбы. Она дежурила в эту ночь. Было много падающих звезд. Небо заволокло у горизонта дымами, на окраинах Москвы горели деревянные дома. Кое-где видно было пламя, но чаще — отсветы пламени на облаках, которые появились после полуночи. На западе стояла сплошная завеса дыма и облаков... Рассказала, как выносили детей из развалин здесь, в рабочем поселке у Крестьянки.

Таня дежурила в ту же ночь в здании биофака с профессором Формозовым и еще двумя студентами. Александр Николаевич рассказывал про охоту на Нерли и Кубре весной сорок первого, а во время налета делал записи в дневнике. Таня прочитала запись, которую она с разрешения профессора переписала в лекционную тетрадь:

— «...Ночное дежурство. Летучие мыши средней величины, штук по пять-семь, летали над сводом во дворе МГУ и ловили ивовую волнянку, которая довольно сильно летит последние дни... В одиннадцать тревога... В сумраке сначала далекие и безмолвные вспышки зенитных разрывов. Ближе, ближе. Вот уже начинается — слышится гул, бродят по небу бледные, прозрач-

ные пальцы прожекторов, огонь над нами, грохот, и среди этого грохота мирно, безмолвно катятся вниз августовские падучие звезды! Всю ночь сильный огонь, несколько раз гул самолетов... Осветительные ракеты в районе Тверской, много ракет на северо-западе. Уже к полуночи целое кольцо пожаров по окраинам города; алый отблеск на облаках. Двенадцать, час, два — все нет конца налету. Кончился только к трем. Над городом дым, гнетущая тишина. Выходим на вышку. Чудесно, успокоительно бьют кремлевские куранты...» Что тебе еще о нас рассказать? — спросила она.

— Расскажи об эвакуации.

— Осенью фугаска попала, в октябре. Разбила памятник Ломоносову. Сразу после этого двинулись в Ашхабад. Потом часть вернулась в Москву. При отступлении фашисты сожгли Звенигородскую биологическую станцию, помнишь?..

— Да, как же! Туда завуч возила нас на экскурсию. Знаешь, а у меня абсолютная память, — вдруг не выдержал я, — так что не задавай вопросов, я все помню.

Она замолчала. Потом спросила обо мне. Я рассказал, как мог, не самое главное, потому что о главном надо было еще думать. Рассказал, между прочим, как слушали радиоприемник в отряде, рассказал, что на всякий случай занимался немецким языком. О Лёнке — тоже...

— Мне повезло, — закончил. — В рубашке родился.

— И опять... туда?

— Нет. В артиллерию. Сегодня же.

— Сегодня? — переспросила она.

— Решено. У меня свои счеты...

— «Свои»! Все-таки индивидуалист ты, Валька! — И она впервые за весь день улыбнулась. — Или, может быть, это оттого, что у тебя абсолютная память? И она смутилась, потому что сказала не то.

— Может быть. — И я попрощался с ней и с Надеждой Кирилловной. — Скажи, чтобы меня там, на факультете, не забывали! — крикнул я, обернувшись.

Обе они стояли у ворот и смотрели мне вслед.

ПРОИСШЕСТВИЕ С ТОВАРНЫМИ ВАГОНАМИ

На трамвае добрался до площади Прямыкова. Забежал к Тамаре попрощаться, но ее не было.

Бабка приготовила мне узелок, я обнял ее и вышел на улицу. Кто-то несмело окликнул меня. Серега Поликарпов!..

— Ты что?

— Провожу тебя...

— Ну-ну...

Мы взбираемся на деревянный мост над Горьковской веткой железной дороги, спешим по Золоторожскому валу, где справа в приоткрытые заводские ворота видим багровые, раскаленные стальные слитки на открытых платформах. Темнеет. Мы выходим на Лефортовский вал с его желто-серыми стандартными домами. Вот и казармы... Я показываю в проходной увольнительную.

— Опоздал, — говорит сержант и строго смотрит на меня. — Часть ушла еще днем.

— Днем? Но меня лейтенант Антонов до вечера отпустил.

— Мало ли что отпустил. Пришел приказ — и все тут. Снялись и ушли, и лейтенант Антонов ушел.

— Куда?

— На вокзал, конечно.

— Как же мне теперь?

— Бывает... — Сержант сочувствовал мне. — Догоняй!

— С какого вокзала отправление?

— А ты как думаешь?

— С Белорусского, может?..

— Правильно думаешь. Только поезд уже ушел, вот в чем дело. Догоняй на попутном товарняке...

— Спасибо, сержант! Будь здоров.

— Привет фронтовикам!

...Только через час мы добрались до вокзала. Огни погашены, окна заперены... Честное слово, хотелось расплакаться. Я узнал, что состав отправился часа три назад. Начальник вокзала, войдя в мое положение, посоветовал незаметно пристроиться к товарному поезду.

— Авось доедешь... — сказал он обнадеживающе.

Так я оказался на подножке товарного вагона.

Город остался позади. Мелькнула пригородная станция.

Чистый алый закат впереди, там, куда спешит поезд, куда под стук колес спешу я. И стыки рельсов, ударяя по колесам, отделяют одну лермонтовскую строчку от другой:

Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль, зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и обманом
Тебя низвергнуть: Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул — он упал!
Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.

Ветер, ветер бьет в лицо, тускнеет закатная полоса; я успокаиваюсь, пытаюсь задремать, присев на площадке. Свежий рассвет застает меня на ногах. Поезд стоит. Четверть часа, полчаса... Я прыгаю на насыпь. И вдруг вижу, как вместе со мной на насыпь скатывается человек. Я слежу за ним. Он прыгнул через вагон от меня.

Раздается голос:

— Это я, Валь...

Сергеа. Это он. Я подхожу к нему. У него виноватое лицо. Наклонив голову, слушает он отповедь своему маневру. Но постепенно я отхожу. Разве я на его месте не убежал бы на фронт вот таким же образом?.. Я умолкаю, и мы вместе идем к машинисту узнавать, что там случилось.

Оказалось, что впереди занят путь, но до станции, где мы

все равно будем стоять, потому что будут прицеплять вагоны, недалеко.

До станции мы добрались пешком. Близился вечер, мы сидели у насыпи, где горькая полынь клонилась под ветром. Перед нами раскинулось поле; едва слышно посвистывал перепел. У путей тускло светились два-три огонька. Шипел маневровый паровоз.

Сергеа принес со станции кипяток, мы пили его маленькими глотками из алюминиевых кружек, закусывая черным твердым хлебом. Через час пришел какой-то эшелон, мы вспрыгнули на подножку. Поезд тронулся. В лицо дул прохладный ветер, пахло донником. Совсем мирный вечер... Широкие поляны, перелески, серебрились кусты под луной. Прошел час. Поезд замедлил ход.

— Пешком быстрее, — сказал Серега.

— Подожди, доедем!

— Да ты посмотри, он едва ползет!

Прошло еще полчаса. Я не выдержал, прыгнул с подножки и побежал к паровозу. Догнал... Пожилой машинист объяснил, что впереди разбомбили мост.

— Будешь стоять? — спросил я.

— Как прикажут. Найдут объезд, поедем назад.

Поезд остановился. Я вернулся и обрисовал Сереге обстановку.



— Делать нечего, — сказал он.

— Лучше вернуться на станцию... Ну-ка, ну-ка... поехали!

Наш поезд тронулся курсом на станцию, назад...

Было уже совсем светло. Над горизонтом появились черные точки, они быстро выросли... Одна, две... пять.

— «Юнкерсы»!

Самолеты прошли над составом, вздыбилась земля. Мы скатились под насыпь. Загорелся вагон, еще один... «Юнкерсы» ушли к станции. С той стороны доносились глухие звуки разрывов. Подняв головы, мы увидели бегущих к горящим вагонам людей... Через час покалеченный, побитый состав вернулся на станцию. Было семь утра. Я хлопнул Серегу по плечу:

— Как знаешь, а я пойду пешком!

— Я с тобой!

Мы покинули станцию и отправились той же дорогой, какой нас вез поезд накануне вечером. Потом свернули налево, перед самым разбитым мостом. Отошли от него, искупались в реке и с полчаса лежали на траве. Солнце клонилось к закату, но красноватые его лучи еще грели руки и тело. На противоположном берегу реки отыскивали грунтовую дорогу, которая вела через ржаное поле. По обочинам ясным лазоревым светом светились васильки. Из-под ног вырвался одинокий перепел. Поле было серым, пустынным. В глубокой воронке рядом с обочиной стояла ржавая вода.

Мы снова вышли к железной дороге.

Мимо нас прогрохотал поезд: вагоны со слепыми, заколоченными окнами, укрытые старым брезентом платформы, боец с винтовкой на последней площадке. Я присел на откос, и мы стали соображать, где ближайшая станция или разъезд. Пошли...

Пристроились к поезду. И скоро, очень скоро почувствовали близость фронта. Стало оживленнее: по дороге шли группами солдаты, тянулись бабы в спецовках с лопатами и кирками, за леском послышалось гудение машин. И точно по сигналу этих машин поезд остановился.

— Пора! — сказал я.

И СНОВА КАПИТАН ИВНЕВ

И вот когда мы прошли рощицу, выбрались на поляну, обрадовались, что тут хорошая дорога и, судя по указателям, она ведет именно к линии фронта, вот тогда я увидел пятерых в гимнастерках, с автоматами. Справа от нас. Они заметили меня. Я остановился. Бежать было бессмысленно: это был патруль, я мог бы скрыться, но потом было бы труднее... С тыловой просроченной увольнительной лучше не нарушать фронтовых порядков.

А слева увидел я повозку, потом ездовых на лошадях, тянувших пушки, сбоку — всадника на темно-карем белогривом коне. Он тоже посмотрел в мою сторону, и я узнал... капитана. Конь его витанцовывал, будто догадывался, что артиллерист — это в некотором роде бог войны.

— Капитан! — крикнул я.

— Никитин! — откликнулся капитан. — Живо ко мне!

Я, стараясь идти строевым шагом, направился к Ивневу. Уди-

вительно быстро разобрался он в ситуации, я и трех слов сказать не успел.

— Пойдешь со мной! — сказал он громко, так, чтобы услышал патруль.

— Есть! — Я ответил ему тоже как полагается.

Капитан слез с коня и вел его теперь в поводу. Один из патрульных провожал нас взглядом. Он был молод. Рыжие курчавые волосы буйно торчали у него из-под пилотки, светлые карие глаза весело светились. Мы прошли мимо, а я все еще чувствовал за спиной этот взгляд.

— Это Серега, — сказал я, указывая на моего спутника. — Вот как все получилось... — И я, думая, что необходимо сейчас же рассказать капитану о Сереге, начал говорить, не пропуская ничего, ни одной подробности наших злоключений.

— Понятно, — откликнулся капитан. — Люди нужны. Разберемся.

И по тону, каким он произнес это, я догадался, что Ивнев сосредоточен до крайности и думает о чем-то своем. Впереди я видел ездовых, пушки, солдат в светлых от пыли кирзачах, и мне передалось предчувствие тревоги, которую предвещала эта сосредоточенность капитана и которую я хорошо умел угадывать еще в партизанском отряде. Я еще раз оглядел артиллеристов в белесых от солнца и дождей гимнастерках, заметил на лицах усталость — спутницу фронтовых дорог, увидел доверху нагруженные повозки. Мне передалось общее настроение — шел молча.

На коротком привале я узнал, что еще в июле партизанский отряд, в котором мы воевали с Ивневым, соединился с регулярными частями. Ивнев командовал теперь артиллерийским дивизионом.

Поздно вечером мы разместились в деревне, но выспаться как следует не успели: в шесть утра был получен приказ о выдвижении на танкоопасное направление.

В деревне, которая осталась за спиной, не было ни горячей бани, ни молока, ни привлекательных телефонисток и военврачей, догонявших свои части, ничего этого не было. С рассветом мы поднялись, умылись колодезной водой, погрызли зеленых яблок в большом церковном саду у пруда и оставили эти несколько затерявшихся среди необрушенных пашен серых деревянных избенок. И три пожилые женщины в темных юбках и темных платках — половина оставшегося в живых населения деревни — смотрели нам вслед сухими серыми глазами.

Потом были шесть часов непрерывного марша под солнцем, когда нужно было выбраться по просеке на торную дорогу, и лошади не осиливали подъем, и нужно было разгружать повозки и тащить боеприпасы на себе, а в жарком небе вот-вот могли появиться «мессеры» или «юнкеры».

Люди останавливались, отдавали ящики другим, шли подле орудий, потом, в свою очередь, снова принимали ящики на плечи, и каждый, наверное, пытался представить, что произойдет после полудня, и, отбросив эту мысль за ее ненужностью, возвращался куда-то совсем далеко — в свой город или в свою деревню.

Мы с Серегой тоже взяли ящики. Справа от нас тянулась зе-

леная стена леса, из которой выступали иногда вперед одинокие березы, клены, дубы. В случае воздушного налета можно было бы укрыться среди деревьев. Наверное, капитан учел это, когда прокладывал маршрут по карте.

Сейчас, в разгаре этого тяжелого дня, все происходившее уже во многом перестало интересовать капитана. Он был мысленно там, на новых позициях, в его воображении рисовались далекие холмы, перелески, дорога-каменка, по которой могли выскочить танки. Все это он видел каждую минуту, так и сяк примериваясь к обстановке, пытаюсь угадать, найти лучшее решение. Об этом я тоже догадывался, как там, в нашем партизанском отряде, накануне той ночи, когда мы двинулись к мосту. Иначе быть не могло. Всего несколько слов услышал я от капитана на привале, но их оказалось достаточно, чтобы разобраться в происходящем.

* * *

Начался крутой подъем, и, когда мы одолели его, помогая тощим артиллерийским лошадям, кто-то рядом сказал:

— Все. Баста.

И тотчас мы остановились.

Здесь был настоящий заповедник, нетронутое место: порхали бабочки-чернушки среди зарослей мятлика и луговика, необычно высоко вились две бархатницы, мелькали голубянки, спешила куда-то переливница. Зеленые и оранжевые стрекозы качались на стеблях диких злаков, на прутиках и снова взлетали. Внизу, у подошвы холма, красота захлопала черно-синими крыльями, и я подумал, что где-то здесь вода и можно будет, наверное, искупаться.

Минута тишины. Потом звякнула лопата. Закричал на лошадь ездовой. Часть повозок и пушек пошла вправо, а мы остались на этом заповедном холме. Я помогал окапываться расчету первого орудия. Серега тоже махал лопатой, но подошел старшина и куда-то увел его.

За гребнем холма открывалась просторная поляна, голубевшая от цветов и трав. Дальше виднелся редкий лес. Справа тянулась дорога-каменка. За ней разбрелись по кочковатому полю одинокие березы, еще дальше от нас опять начинались холмы.

Я лежал ничком на траве, вдыхая запахи нагретой земли. Был короткий перекур. Командир орудия Поливанов, наводчик Федотов, заряжающий Пчелкин расположились чуть ниже меня, на станине пушки. Я вдруг почувствовал настоящую потребность поднять голову и, подперев подбородок руками, тотчас увидел серый, незаметный танк у края поляны. Танк медленно выползал из редколесья, что было перед нами. Я замер. Потом заметил еще один танк и еще... Обернулся и увидел, что Поливанов уже стоит у орудия, а Федотов прильнул к наглазнику прицела. У обоих пилотки были подоткнуты под ремень, у Федотова обозначились под гимнастеркой лопатки, его весопушчатое молодое лицо как бы слилось с прицелом.

Танки словно крались к нам — без единого выстрела. Я хотел крикнуть: «Давай!» — и в тот же миг орудия ударили.

Танки ответили. Выползли еще четыре танка. Они шли, прикрываясь тенью леса, в сторону шоссе, но, как только наши орудия ударили, они повернули к нам. Синие дымь повисли в воздухе, а рядом с нами еще порхали бабочки; Федотов словно прилип к прицелу. Я подносил снаряды заряжающему. Второй, третий выстрелы... Четвертый достиг цели. От второго танка потянулся черный, густой, как чернила, дым. Танк замер. Рядом с нами, метрах в пятидесяти, грохнуло, и завизжали осколки над головами. Серые подвижные комки танков расплзались по полю. Среди них вздымались черные вороха земли, и все поле затягивал дым. Но танки били теперь по нас увереннее, снаряды ложились ближе к орудиям. Несколько раз Поливанов приказывал мне лечь, один раз даже выругался: моя партизанская закуска была не по нутру артиллеристу, выдавшему всякое.

Огонь батарей был губительным для немцев. Остановился третий танк. Четыре танка повернули назад, в перелесок, где, наверное, была грунтовая дорога. «И это все?» — подумал я. Странный, молниеносный бой; мне показалось, что одна из бабочек-чернушек не успела даже взлететь.

Капитан собрал офицеров:

— Мы должны немедленно сменить позиции. Нас уже засекли немцы. Впереди есть хорошее место. Оттуда по-прежнему будем контролировать шоссе.

Едва мы ушли с позиций, как по ним ударила артиллерия противника. Там, где остались отрытые нами окопы, быстро сгустились серо-голубые дымь. Немецкие орудия били и били по зеленому загрому высот, по склонам их, где полтора часа назад я наблюдал за полетом бабочек.

И только теперь пришел страх, точнее, пришла словно тень его, ведь я увидел, что такое противоборство, и понял, что случиться могло непоправимое, если бы не капитан. И если бы, не обливаясь потом так, что видно было сквозь него только пальце влажное солнце, мы не снялись со старых позиций.

И страх этот усилился вдруг и завладел мной, и уже не только прошлое, отгремевшее неприятельскими залпами, было тому причиной. Нет. Едва мы успели перейти дорогу, войти в лошину, как опять появились танки. Они ползли прямо на нас по дороге, и мы не успели бы развернуть орудия и приготовиться к бою. Минута прошла как в лихорадке; танки уже обнаружили нас, и перед ложиной рвались снаряды, совсем близко визжали осколки; мы ложились на мокрую землю в густую траву, снова поднимались и бежали к орудиям. Убило лошадь. Мертво, тускло светились красными бликами закатного отраженного солнца шары лошадиных глаз. И жемчужно поблескивал срезанный осколком зуб, оставшийся на залитой кровью траве.

Подкатила к горлу тошнота. Затравленно озираясь, я понял, что две наши батареи не успеют открыть огонь и танки сомнут нас. На багровом от заката лице Поливанова резко выделялись морщины. Я не мог прочитать в нем успокоительной уверенности, но не было в нем и страха. Неведомый механизм замедлил время так, что удары крови в висках раздавались гулко и размеренно, и многое успевал я пережить между двумя ударами.

И вдруг головной танк вспыхнул, как факел, над ним поднял-

ся столб чадного дыма. Послышались негромкие хлопки. Поливанов крикнул, ободряя меня:

— Третья батарея их сейчас угостит!.. — и отер заляпанное грязью лицо рукавом гимнастерки.

И, точно подтверждая его слова, после новых хлопков, уже вполне отчетливых, замер еще один танк. Только теперь я догадался о том, что произошло на моих глазах. Была батарея, укрытая за дорогой. Пока мы окапывались на холме, она ушла вперед, заняв заранее ту позицию, с которой вела теперь огонь. Мы не видели наших пушек, не видели батарейцев. Но хлопки продолжали раздаваться, и танки заматались, расползаясь с шоссе. Черная струя дыма тяжело полилась еще из одного танка... И тут шарахнуло, мы вжались в землю, но поздно. Секундой позже меня испугало белое, безжизненное лицо Вани Федотова, я подполз к нему, боязливо притронулся к его руке, увидел рану, от которой стал темным и влажным бок гимнастерки.

— Ваня, Ваня!

Он не отзывался. Откуда-то появился Серега. Вместе с санинструктором он перевязывал Федотова. Я помогал им укладывать нашего наводчика на носилки. Они ушли с ним, припадая к земле. Я кинулся к орудию. Поливанов тут же приказал развернуть пушку, я встал к прицелу. Еще там, на холме, я более или менее усвоил с помощью Вани Федотова и Поливанова обязанности наводчика. Еще там меня как магнитом тянуло к прицелу. Мечта моя исполнилась, но какой ценой! И почему они знали, что это понадобится так скоро? Я думал об этом, а перекрестие прицела, словно само по себе, уже ползло по борту немецкого танка. Огоны! Мгновенная досада, неловкость, я растерялся. Промаях! И снова перекрестье ищет тело танка, я сам переношусь туда, где вражеские машины огрызаются, пытаюсь подавить батарею. Удар. Я уже привык к грохоту. Что-то случилось с тем танком, на броню которого я как бы наклеил крест. А Поливанов заорал на ухо: «Давай дальше так же!..» Пушка снова грохнула, и еще, еще, и там, кажется, вспыхнул еще один танк, но это была скорее всего работа второго орудия.

И тогда мы поняли, что дело сделано. Танки откатывались назад, они ползли вдоль шоссе к редкому лесу за дорогой, напротив наших старых позиций. И тот снаряд, который Пчелкин дослал в казенник, Поливанов решил сберечь.

* * *

Капитан был серьезен, озабочен; я думаю, он постоянно решал какую-то трудную, тягостную задачу.

Постепенно у меня раскрывались глаза: наши потери в боях были небольшими, и мы в самых трудных положениях могли поддержать огнем соседей и сами получить поддержку. Капитан воспитывал из нас настоящих артиллеристов. Иногда он сам проводил занятия с расчетами. Жаль, что время на эти занятия выкраивать не всегда удавалось.

Я уже знаю, как точны в бою распоряжения капитана. Он умеет угадывать действия противника. И тот особый язык, непонятный для непосвященных, но хорошо знакомый артиллерис-

там, открывает мне недалекое будущее. Мы нейтрализуем опорный пункт противника у Зеленой дачи, совершаем огневой налет на немецкую батарею на Среднем холме, препятствуем контратаке со стороны Высокого леса.

...Может быть, уже тогда Глеб Николаевич чувствовал необходимость рассказать о том, своем... Почему он выбрал меня? Не знаю. Возможно, потому, что у меня проверенная память и он когда-то, в партизанском отряде, уже говорил со мной об этом. Но сам разговор состоялся позже. Ровным голосом он передавал мне свой опыт или, лучше сказать, итог размышлений.

Капитан познакомил меня с журналом «Военный вестник», о котором я раньше, до него, и не слышал. Он возил с собой в планшет по бесконечным фронтовым дорогам довоенные еще вырезки из этого журнала, и я знал, что он читает их и перечитывает, словно примеряя мысли далекого сорокового к нынешним будням.

— Прочти, поразмышляй! Может, когда-нибудь пригодится. Ты ведь теперь человек военный. — С этими словами он протянул мне однажды перевод немецкой статьи о танках.

В словах его я не уловил и тени иронии. Само это выражение «военный человек» все чаще казалось мне синонимом другого, распространенного в мирное еще время выражения «молодой человек».

Вспомнился Ваня Федотов. Он лишь на год старше меня, и потому биография его оказалась такой простой и короткой. Родом он из деревни Купринки Смоленской области. Окончив семилетку, поступил в ленинградскую школу фабрично-заводского обучения, готовился стать слесарем. В сорок первом вместе со школой был эвакуирован на Урал. Работал на машиностроительном заводе. Отсюда призван в сорок втором в армию. И вот его уже нет с нами. И он не вернется. Иван Федотов умер от ран по дороге в госпиталь.

— Прочти! — повторил капитан, словно угадывая мои мысли и пытаясь напомнить, что слово «смерть» для войны не подходит, а есть другие слова — «долг», «честь», «подвиг», которые он считал словами вполне военными.

Статью о танках написал немецкий генерал, написал еще в сороковом году, наверное, по следам событий во Франции и Польше.

«Конница вновь приобрела свое прежнее значение как в бою, так и в преследовании противника, — писал генерал, — с той лишь разницей, что кони теперь заменены моторами. Еще в начале тридцатых годов утверждали, что у этой стальной конницы героическая будущность, так как танки будут выполнять те же задачи, что и конница в эпоху наполеоновских войн. Но сверх того танковые войска с прежним кавалерийским духом сочетают новые возможности, о которых во времена Наполеона можно было только мечтать. Отдельные же бронетанковые отряды — это своего рода подвижная артиллерия, которая может вести преследование противника».

— Любопытно, — сказал я, обратившись к капитану.

— Не столько любопытно, сколько полезно! — возразил капитан, сверкнув белками глаз. — Мы же артиллеристы, это мы

боремся с танками! И будем бороться с ними еще год, два, столько, сколько надо для победы. Ясно?

— Да. Немцы делали ставку на танки.

— На танковые клинья и армии. Дороги — горло войны. Не нужна каждая пядь земли в обмен на войска. Нужна армия. Ты не слышал про Дюнкерк? Я расскажу тебе, что там произошло. Немецкие танки сделали бросок через Арденны и отрезали пути отхода во Францию армии союзников. Десятки дивизий оказались в окружении. А ведь танков у союзников, англичан и французов, было больше, чем у немцев. Оказывается, танки танкам рознь. Если они собраны в бронированный кулак, они подвижны и способны окружать противостоящие войска в считанные дни или даже часы. У них большая скорость. Но если танки поддерживают пехоту, если они растворены в ней, как это было у союзников под Дюнкерком, то у них нет уже преимущества в скорости. Они ползут рядом с пехотой, они лишь усиливают войска, но у них нет главного — маневра, скорости... Стальная кавалерия — вот что такое танковые корпуса и армии. Но это намного сильнее кавалерии... это страшная штука. Она и опрокинула союзников под Дюнкерком. Их дивизии вышли навстречу немецкой армии, пересекли линию Мажино и вошли в Бельгию. И самое интересное вот в чем: они бросились навстречу немцам и потому именно потерпели поражение. Понимаешь?

— Нет, пока нет...

— Ну-ка, дай клочок бумаги... Вот, смотри: они перешли границу, оставили за своей спиной укрепления, а немецкие танки с юга, сбоку, прошли за их спиной на север, к Булони и Кале, и отрезали их от укреплений, от резервов, от Франции. Понимаешь?

— Теперь понимаю. Но что они могли поделать?

— Не наступать. Держаться за укрепления. Обеспечить танковые подвижные резервы, чтобы быстро маневрировать вдоль линии фронта. Но это должны были быть только танковые соединения, союзники всего этого не понимали. Даже после тридцать девятого года.

— Сейчас об этом легко говорить!

— Об этом — нелегко, Валя!

Разговор этот состоялся на привале, через два дня после очередного боя. Дивизион получил приказ совершить марш на другой участок фронта. Лил дождь, над землей нависали низкие облака. Капитан не стал дожидаться ночи. Непогода была нам на руку: это помогало оставаться не замеченными противником. Мы выкатили орудия из укрытий, перебрались через балку с разлившимся ручьем. Продирались сквозь кустарник до того места, где можно было впрячь лошадей.

На подводах, бестарках, как их называли наши ездовые — туляки, не хватало места, ящики несли на себе. Мы промокли до нитки, обмундирование пропиталось жидкой грязью, и на привалах мы нередко валились от усталости прямо на глянцево блестящую мокрую траву, на пашню, на обочину. Костры разводить капитан запретил. Отдыхавшись, мы сооружали навесы из жердей, кусков брезента, ладили плащ-палатки. Дожди шли двое суток.

Добравшись до места, мы наконец обсохли, отдохнули, оборудовали огневые позиции и укрытия для боеприпасов. Эти двое суток под дождем стали далеким воспоминанием, только много позже я вернулся мыслю к подробностям этого нашего марша и смог правильно оценить сделанное. Но и сквозь завесу времени видел я прежде всего капитана, слышал его голос, слова, обращенные к нам, и понимал, что стойкость его была непоколебимой.

В РАЗВЕДКЕ

Партизанский отряд растворился; так бывает, когда ручей впадает в реку: не найти уже его особой воды, нет ее — вокруг река. Володю Кузнецова, которого мы звали Кузнечиком, отправили в тыл учиться, несмотря на его сопротивление. Ходжа-акбар, с которым мы ходили на станцию, был тяжело ранен в том же бою, что и я. Известий от него не поступало. Быть может, он до сих пор лежал в госпитале. Убит Станислав Мешко. Остальные служили в разных частях. В нашем дивизионе, кроме капитана и меня, находился Виктор Скориков, сосед мой по землянке в отряде. Капитан сказал об этом в первый же день. Виктор был теперь командиром взвода управления, но мне до сих пор не удавалось его увидеть. И вот наконец я пробрался к нему в землянку...

— Виктор!

— Валя, ты?..

— Рад видеть тебя в добром здравии, товарищ лейтенант.

— Рассказывай! — Виктор угостил меня трофейным шоколадом, обругал почему зря немецкий эрзац-мед и сигареты, предложил бийскую махру и тут же попытался решить мою судьбу: — Тебя бы, Валя, отправить побыстрее в университет, не дожидаясь...

— Нет, — оборвал я его. — Войне скоро конец. Один американский журналист заявил по радио, что союзники победят Германию в сорок третьем.

— Если бы американцы так воевали, как говорят...

— Все равно скоро победа. Тогда я вернусь в университет.

— Ну дай-то бог.

В землянке было душно; кто-то читал, пожилой боец чистил оружие, рядом с ним молодой парень неумело брлся немецкой бритвой.

— Переходи-ка в отделение разведки, к нам! — Скориков исподлобья смотрел на меня сквозь облачко дыма от самокрутки и ждал ответа.

Я замаялся. Мне хотелось служить с ним бок о бок. Но мое ли это дело? Наконец я ответил:

— Поговорю с капитаном.

— Тебе Ивнев разрешит. — Скориков подчеркнул это «тебе», тем самым давая понять, что капитан мне благоволит и что решение это зависит, в общем, от меня самого.

...Выбрав нужную минуту, я поговорил с капитаном. Он усадил меня за стол, над которым горела лампа, сделанная из снарядной гильзы. Она освещала планшет, бумаги, схемы, назначения которых мне было непонятно. На белой тонкой бутылке с

отбитым донцем, которая служила ламповым стеклом, заметна была копоть.

— Ну что ж, — сказал капитан, выслушав меня, — люди везде нужны. Но Поливанов считает, что из тебя вышел бы хороший наводчик. Говорит, что у тебя талант. Человек он опытный... Но раз ты так хочешь в разведку — давай!

Ивнев встал, давая понять, что разговор окончен, протянул на прощание руку. Я почувствовал настоятельную потребность сказать что-то хорошее. Но не мог найти слова. Под накатом землянки Глеб Николаевич казался еще выше, в светлых глазах отражалось широкое лезвие огня от лампы, над переносицей собрались резкие складки. Когда я пожал его руку, складки эти стали еще глубже. Я повернулся и быстро вышел из землянки.

* * *

Даже у разведчиков Скорикова в свободные минуты я набрасывался на книгу, подаренную капитаном, разбирался в артиллерийской науке, узнавал, как действует накатник, тормоз отката, затвор, словно предчувствуя, что это может еще пригодиться, что не напрасны слова Поливанова.

Много дней и ночей предстояло мне провести у разведчиков, но первые дни были особенные. На второй же день Скориков в немногих словах рассказал о задании. И когда он рассказывал, я живо мог представить лицо капитана, выражение его серых с синевой глаз, складки над переносицей. И так я легче понимал командира разведчиков — словно за спиной его стоял Глеб Николаевич и продолжал со мной беседу. Час назад он вернулся от командира полка, вернулся, обеспокоенный тем, что у немцев появились на нашем участке фронта тяжелые минометы. Их засекла наша авиация. Но в штабе дивизии считают, что противник хочет провести нас, создав ложные позиции. Наше наступление начнется через два дня. Командир дивизии принимает решение — мне кажется, что Виктор сообщает это голосом капитана, — послать за линию фронта группу артиллерийских разведчиков. Невидимая цепочка военной логики тянется именно к нам, именно Глебу Николаевичу говорит комполка:

— Знаю, у тебя толковые ребята...

И вот уже капитан рукой Скорикова обводит на карте квадрат, в котором расположилась предполагаемая батарея немецких тяжелых минометов, и я живо представляю себе, как мы идем до ночному лесу к этому квадрату. Наверное, это похоже на партизанские наши дороги, километры которых мы не считали, не мерили, но которые оставили в нас навсегда чувство тревожной зоркости. С нами будет рация.

...Вот он, долгий летний вечер с зеленоватым послезакатным светом, первой россыпью звезд, лесными запахами, с его таинственным и тревожным молчанием, которое заставляет нас прислушиваться к каждому шороху, всматриваться в каждый куст, в каждую колдобину, в каждую тень.

Стемнело так, что я не различал лиц шедших со мной. Мы благополучно миновали нейтралку. Было нас четверо. Вот и квадрат, где должна была располагаться батарея тяжелых минометов и который казался таким маленьким на карте.

Перед нами было чистое поле, за полем — лес, ничем не примечательный, и мы решили ждать. Заговорит же, наверное, немецкая батарея. Должна заговорить, не провалилась же она сквозь землю. Мы лежали в высокой траве и поглядывали на часы. Рядом со мной — Скориков, дальше — Устюжанин и Воронько. Тишина. Над самыми нашими головами прошелестели крыльями три утки.

— Хорошо замаскировались, — заметил вполголоса Воронько. — Даже утки за своих принимают.

— К отлету готовятся небось, — сказал я. — Сезон скоро охотничий, бывало, в это время дичь в стаи сбивалась.

— После войны все по-другому будет, — возразил Устюжанин. — Утки будут прямо на мушку садиться.

— Тише! — осадил Скориков.

— Чего тише-то? Все равно тут мы одни — и никаких минометных батарей, — услышал я досадливый шепот Устюжанина.

— А пусть бы она провалилась, — хохотнул про себя Воронько, — кто ж против этого?

— Там дом, у самого леса... — сказал я.

— В лесу-то она не может стоять, братцы, — сказал убежденно Устюжанин.

— Черт ее знает... А может быть, и может, на поляне, — возразил Скориков. — Вот возьмет и встанет. Но самое ей место на опушке. — Он зябко передернул плечами, повернул ко мне загорелое лицо, и я понял, что он рад был бы моему совету, но я в смущении отвел глаза: не знал, не мог сказать нужных слов.

— Уж не напугали ли мы ее, братцы?

— Она, Воронько, твою самокруточку за гвардейский миномет посчитала.

— Зубоскаль, зубоскаль, на том свете нам это зачтется, — отвечал Устюжанину Воронько. — К дому бы пробраться...

— Я пойду, — сказал я.

— Но только со мной вместе, — добавил Скориков. — Устюжанин, Воронько остаются здесь. Старший — Устюжанин.

Мы поползли и через несколько минут были у изгороди палисадника. Это был просторный рубленый дом с двумя сухими светлыми комнатами. Его охраняли высокие сосны вперемежку с елями.

— Вот это хоромина! — прошептал я. — Тут можно целую роту разместить.

От леса тянулась к дому широкая полоса кустарника с тропинкой посередине.

— Давай проверим, куда тропа ведет, — приглушенно сказал Скориков.

По кустам рядом с тропинкой мы добрались до самого леса, потом вернулись. Обошли дом кругом. Ничего особенного. Раздолье, свежая трава почти до пояса, желтые цветы, и на них гудят коричневые шмели... Серые кузнечики стрекочут на самом крыльце.

— Ладно, — сказал Скориков, — давай-ка на чердак! С чердака виднее!

Мы поднялись по деревянной лестнице, которая лежала на

вытоптанной траве под самым лазом и которую приставили к стене. Лейтенант — впереди, я — за ним.

С чердака внимательно осмотрелись. Скориков обнаружил просеку, идущую в глубине леса.

— Вот, Валя, по ней и пойдем, когда стемнеет!

Я отошел от лаза, вглядываясь в полусумрак, окаймленный стропилами и конусом крыши. И вдруг замер: под крайними, удаленными от нас стропилами, на тяжелой деревянной поперечине лежал человек... девушка. Как будто открылся совсем иной, фантастический мир, и сердце не принимало его, а разум говорил: он, этот мир, существует, это не миф, не сказка, вот он, смотри внимательнее... Девушка была похожа на Наденьку. На лице и обнаженном теле ее не было крови, лицо было спокойно... так казалось. Глаза закрыты, на груди — следы ожогов, пальцы левой руки сломаны. На вид ей было лет семнадцать.

Подожел Скориков. Мы подняли тело девушки, оно было совсем легким. Какая-то горячая волна прошла по моим вискам, дошла до пальцев, и они дрогнули, что-то дикое, злое овладело мной, я едва справился с собой. Лицо мое побледнело, губы скривились.

Выбрали место для могилы, рядом с домом. Земля была мягкой, податливой. У изголовья посадили рябину, которую Скориков выкопал у крыльца и перенес вместе с огромным комом земли, чтобы она лучше прижилась.

Мы как будто сговорились с ним не вспоминать о девушке вслух. Но по тому, как Скориков вдруг умолкал или отвечал невпопад, ясно было, что тоже думал о ней. Я видел ее теперь на фоне этого леса, такого ласкового, светлого издали...

— Что с тобой?

Я не ответил. У крыльца дома — опять она, такая, какой я увидел ее на чердаке. Снова точно приступ, дрожь, туман в глазах... глухой неожиданный вскрик. Ах, какая, горячая у нас кровь, кровь славян, диких финнов, сарматов! Я пошатнулся. Как тогда, в Михайловке, в школе, где были заложники...

Скориков тормошил меня, успокаивал. Я оттолкнул его:

— Иди, иди!

И он действительно исчез куда-то, потом вернулся с газетой в руке.

— Вот, под крыльцом нашел, на, почитай. — И он протянул мне четыре пожелтевшие надорванные страницы.

Это были «Известия». Я прочел дату: вторник, 12 апреля 1932 года.

— Сегодня тоже вторник, — сказал он.

— Разве? — спросил я. — Значит, вторник... Смотри-ка, здесь пишут о результатах выборов в Германии. «Во втором туре президентских выборов правительственный блок добился своей цели — Гинденбург оказался избранным абсолютным большинством голосов».

— Про Гитлера что?

— Вот... Гитлер собрал почти на шесть миллионов голосов меньше.

— Еще что там о выборах писали?..

— Есть сообщение «Роте фане». Гитлеровцы распространяли подложные листовки за подписью компартии.

— Знакомый почерк. Все средства хороши... Ладно, ты читай, а я пойду Устюжанина и Воронько позову.

Я развернул пожелтевшие страницы, чтобы окунуться в день вчерашний или, быть может, забыться?.. Чем жила планета в 1932-м?

«Налицо много признаков, — пишет американский журнал «Чайна уикли ревью», — что САСШ могут в недалеком будущем признать Советскую Россию... В период мирового кризиса, когда окончательно доказана невозможность заставить платить Германию, так же ясно, что будет безнадежной всякая попытка заставить Советское правительство признать старые долги... Обстановка значительно изменилась с тех пор, как государственный секретарь Юз отверг советское предположение, что признание облегчит торговые сношения между двумя странами, заявив, что «Россия является огромной экономической пустотой». Выгоды от торгового договора между САСШ и Советской Россией будут бесспорны.

...Европейская концессия, европейский вексель, европейский кредит — могучие взрывчатые материалы, которые надежнее интервенции и скорее, чем последняя, уничтожат власть коммунистических утопистов. Декламацию о священных принципах христианской цивилизации надо оставить попам и истерическим бабам европейских политических салонов. «Торгуем же мы с канибалами», — бросает Ллойд Джордж свою крылатую, облетевшую весь мир фразу»...

И рядом вдруг вспыхнули несколько строк:

«Ленинград. 11 апреля. Состоялся первый рейс советского дирижабля УК-1. После пробы моторов стартовая команда отпускает корабль. Ровно в 7 часов дирижабль УК-1, плавно набирая высоту, летит к Московским воротам, поворачивает на Бадаевские склады, в Литовку, к Витебской железной дороге и, обогнув Волково поле, берет курс на Салюзи. В 7 часов 58 минут УК-1 благополучно спустился в Салюзи...»

О, я вспомнил. Об этом полете писала моя двоюродная сестра из Ленинграда, а еще я слушал радио. Тогда мне шел девятый год. Было это как будто совсем недавно. Я отложил газету и с минуту сидел на деревянной лавке, но тревожащие видения начали овладевать мной, и я заставил себя вернуться к пожелтевшим листам.

«Алюминстрой. 11 апреля, РОСТА. Вступает в строй первый в СССР алюминиевый комбинат. Началась загрузка склада бокситов».

«Шанхай. 10 апреля. ТАСС. Агентство Гоминь сообщает из Ханькоу, что после отъезда комиссии Лиги наций японские военные суда снова возвращаются в Ханькоу».

Строчки смешались, я закрыл глаза. По неосознанной ассоциации опять вспомнилась Наденька. Из моего детства. Как будто воочию увидел я дорогу на Войново. Полыхнул закат, и пламя его угасло. Над изломанной линией сосновых вершин поднялся давний послезакатный свет. Небо стало глубже, вынырнули звезды. Я видел сейчас ясный теплый вечер, тот самый вечер... Я улавливал, казалось, тепло, исходившее от нагретых солнцем стволов. Усилием воли я вернул несколько странно-волшебных минут под кронами деревьев, на песчаном откосе у ее дома. Чу-

дились призрачно-неуловимый шелест кожанов, затаенно тревожный крик птицы, белые летучие огни парящих над крапивой мотыльков. И падучая звезда прочерчивала небо. И росчерк ее казался мне теперь исполненным тайного смысла: он перечеркивал многое в моей жизни, той, старой жизни.

* * *

Стемнело. Скориков скомандовал:

— Идем к протесе!

Шли быстро, почти не таясь, теперь каждая минута работала на врага. Лес был пустынен. Одинокие вечерние птицы хлопали крыльями, потрескивал валежник под нашими кирзачами, прорезались звезды над нашими головами, и мне казалось, что девушка на чердаке приснилась, да и весь минувший долгий день — тоже.

За узкой луговиной с лесным ручьем — перелесок, за ним — поляна. Взошла луна, и в ее матовом свете молча разглядывали мы стволы минометов, немецких солдат подле них, часовых поодаль. Молча двинулись назад. Когда вернулись к дому, Устюжанин передал по рации кодом все, что следовало передать. А нам пришел приказ: возвращаться!

В ОГНЕВОЙ ВЗВОД

В огневых взводах не хватало людей, и вскоре капитан снова отрядил меня в оружейный расчет Поливанова. В глубине души я был рад этому решению. Разведка, конечно, дело нужное, но мне хотелось видеть врага через прицел орудия. Да и скучал я по своему расчету — сам себе удивлялся, когда это я успел привязаться к этим ребятам.

— Расскажи что-нибудь! — потребовал Леша Пчелкин, когда выпал свободный час.

— О чем тебе рассказать? О том, что ближе к нам, или о том, что дальше?

Он смотрел на меня так, словно чуял подвох, и, удостоверившись, что я настроен серьезно, сказал:

— Расскажи о том, что дальше.

Я молчал с минуту, мысленно пробегая страницы книг с обгоревшими переплетами. Они мелькали передо мной как наяву, словно я снова попал в библиотеку. И вдруг одна из страниц застывала неподвижно, и я снова прочитывал ее, теперь уже вслух. Останавливался и спрашивал Пчелкина, знает он это или нет. А он, конечно, никогда не видел такой библиотеки, и ему не приходилось читать обгоревших книг той первой военной зимой...

— Хочешь, расскажу, как ирокезы строили небоскребы и мосты?

— Расскажи... А кто эти... ирокезы?

— Индейцы, краснокожие, слышал?

— Слышал. Ну и как они строили?

— Есть небоскреб в Америке, больше ста этажей. Так вот, они работали без спасательных поясов.

— И не страшно?

— Не бояться они высоты. Они половину всех мостов там построили.

— В Америке?

— На северо-востоке. Они живут у Великих озер... Я читал, как они карабкались по железному каркасу, зажав щипцами раскаленные заклепки. А каждая заклепка в килограмм.

— И много их там, прокезов?

— Сейчас мало осталось. Купера не читал?.. Их истребили.

— Жаль, хорошие летчики были бы.

— Летчики из них получились бы что надо.

Я задремал, закончив нехитрый рассказ, но Пчелкин растормошил меня, и я рассказал ему с серьезным видом об автомобиле с помятым взрывом радиатором, который после второй бомбежки выправился совершенно.

— Да ну? — тихо удивился Пчелкин. — Сочиняешь! Расскажи еще что-нибудь. Только правду.

Я рассказал ему о термитах, которые выращивают грибы. Они запахивают и боронуют свой огород лапками, удобряют его остатками растений. Когда почва готова, термиты сажают через правильные промежутки кусочки грибницы.

— Как люди, — заметил Леша.

— А есть муравьи-портные. Для постройки гнезд они сшивают листья деревьев.

— Хорошо живется разной твари... — задумчиво пробормотал подсевший к нам Поливанов.

* * *

За нашими плечами — бой и тяжелые, долгие переходы, но бодрость Пчелкина, какое-то душевное его здоровье удивляли... Поздно вечером я видел его у речки. Он вел в поводу коня. Медленно, как-то смиренно вел его, и красно-чалый конь шел за ним уступчиво, бережно переступая усталыми ногами, опустив голову. Повод ни разу не натянулся, конь осторожно нюхал воду, но не ступал в нее, ждал... Они вместе вошли в реку, и темные струи раздались перед конским крупом и ленивой, невысокой волной набежали на берег — от нее шелохнулись тростники в завали.

Они поплыли на тот берег. Пчелкин нырнул, а конь обеспокоенно косил глазом. Но тотчас успокоился, как только показалась над водой голова Пчелкина и он снова заработал руками. Они вышли на другой берег, и вдруг все переменялось: они побежали по берегу — сначала человек, за ним конь. Послышались ржание, звонкое, веселое ржание коня, глухие удары его копыт и снова тихое, протяжное ржание... А человек крикнул что-то веселое, что-то похожее на «огой!» или «оэй!». И конь припустил так, что далеко оставил за собой человека, и, поняв оплошность, остановился и стоял, повернув назад голову. Человек приблизился к нему, и они снова побежали, но теперь они были связаны поводом, и конь бежал впереди, как будто это он вел человека в поводу...

— Гей! Гей! — кричал человек и бежал вслед за ним; оба промелькнули в прибрежных кустах; красно-чалый конь был похож на быструю тень. И человек, светлое продолговатое пятно.

летел за ним так быстро, так резво перебирал ногами, что я не успевал ловить мелькание странной группы в темневшей почной зелени...

— Оэй! — донеслось до меня издалека.

— И-и-и! — задрожал воздух от ржания. Оно было пронзительным и еще более веселым, чем когда конь увидел другой берег.

Они ушли дальше от берега, так что я теперь не видел их. Только слышал человеческий крик: «Оэй!», конь отзывался: «И-и-и!»

* * *

Фонарь «летучая мышь» на железном крюке, густые тени, яркое пятно света над картой, бинокль, планшет на столе, охалка зеленых веток в ведерке на полу. За столом — замполит батареи лейтенант Иван Драгулов, бойцы сидят на низких, наспех сколоченных нарах. Идет разговор.

— А что пишут в газетах? — раздается заинтересованный голос.

— Да вот пишут, что Гитлер малость напутал, объявил, что под Орлом и Белгородом не немцы первыми перешли в наступление, а Красная Армия.

— Хитрит, бабдюга. Карты путает.

— Зачем это нужно ему? — спросил сержант Поливанов. — Какая от этого выгода?

— А Гитлер жаждет триумфа, компенсации за Сталинград. Сам рассуди: под Курском он бросил против нас не один десяток дивизий, в том числе немало танковых, перебросил из Западной Европы самолеты, а потом подумал-подумал, да и решил подороже продать свои первые успехи: мол, Красная Армия перешла в наступление, а он, Гитлер, не только сумел оборону удержать, но и перехватил инициативу.

— Трудно было там... на Курской дуге.

— Да уж не сладко.

— Газеты пишут об артиллеристах, отбивающих атаки «тигров». По бронированным зверям вели и ведут огонь прямой наводкой, драться приходилось и в окружении, пока не подходили наши. Сейчас совсем другое дело в смысле обстановки, — пояснил Драгулов. — Теперь немец бежит, и я думаю, артиллеристы за ним все же поспевают. Как вы думаете?

— Да уж не отстанем теперь до Берлина, — раздался уверенный голос.

— Танкистам нашим тоже нашлась там работа. Командир танкового взвода лейтенант Бессаробов на своей тридцатьчетверке за один только день уничтожил три фашистских «тигра».

— Не могут немцы теперь так воевать, как раньше, факт.

— А вот что я вам расскажу об одном нашем летчике... Фа-милия его Горовец. На своем истребителе он атаковал двадцать вражеских бомбардировщиков. Запомните: двадцать! И сбил за каких-нибудь полчаса девять из них. Никто еще в одном бою не сбивал девять самолетов. Достойный пример и для нас, артиллеристов.

— А сам Горовец? Жив?

— Погиб в этом бою. И показал тем самым, как погибает настоящий человек.

— Может, скоро наша очередь. Будем наконец наступать. Сидим здесь в обороне...

— Всему свое время. К тому же в обороне не легче, чем в наступлении.

— Это уж точно, не легче. О чем еще пишут?

— Союзники наступают в Сицилии. Сначала приземлились парашютисты, взяли плацдармы, потом началась переброска частей на планерах.

— На планерах над морем? Неужто осилили?

— Самолеты буксировали эти планеры почти до острова.

— Чудно как-то все...

— Да пусть хоть так помогают!

— Пора бы им настоящий второй фронт открыть!

Кто-то заботливо протягивает Драгулову газетный лоскут.

— Пишут еще о тех, кто в войне не участвует, но в мыслях идет намного дальше Наполеона. Есть ведь и такие. Польский министр Мариан Сейда заявил, что он за федерацию народов Европы, начиная с Литвы через Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию и до самой Югославии и Болгарии. На что это похоже, Пчелкин, как по-твоему?

— Делить шкуру неубитого медведя, вот на что это похоже, товарищ лейтенант.

— Нет, Пчелкин, ошибаешься. Это посерьезней. Министры сидят в Лондоне, далеко от Польши, и хотят... Чего они хотят, Долина?

— Чужими руками жар загребать...

— Нет, брат. Тоже неточно. Им только рук чужих мало. Они хотят, чтобы целые народы, и поляки тоже, отдавали бы жизни сынов своих и дочерей, а им достались бы места министров в этой новой федерации, и они поспешат туда в белых манишках после того, как затихнут выстрелы. Ясно?

— Ясно, товарищ лейтенант.

— Ну все, по местам! Эй, Никитин, задержись-ка!.. — Драгулов положил руку на мое плечо и добавил: — Поговорить надо.

Он быстро повернулся, стремительно выкинул из-под дощатого стола ящик, который должен был служить мне стулом, фонарь осветил его лицо резким боковым светом. Глаза его казались теперь глубокими, темными. И он со вниманием, неторопливо разглядывал меня, точно впервые увидел. И вдруг попросил:

— Расскажи о себе.

Я рассказал. О бабке, о матери, о том, что отец умер еще до войны, о Школьной улице, Таганке, о моей тетке и двоюродной сестре, о своей учебе в МГУ. Рассказал не останавливаясь, на одном дыхании. Он молчал, почему-то хмурился, а я подумал вдруг: «Зачем ему все это надо знать? Неужели интересно?»

— Танк ты подбил тогда вовремя, — сказал он, глядя мимо меня, на пустые нары, где только что размещались батареи.

— Это был первый бой. Поливанов поставил меня вместо раненого Федотова.

— Знаю, знаю... Капитан о тебе рассказывал. В октябре я тоже попал в окружение. Снег в ту осень выпал рано, ты пом-

нишь... Обледеневшие гроздья рябины у нас считались лакомством. Шли сначала с пушками. Потом съели лошадей. По бездорожью три дня тащили артиллерию на себе. Потом закопали затворы и прицелы орудий. Нашли в лесу наши артиллерийские склады. Взорвали несколько тысяч тонн пороха, мин, снарядов. Немцы так обеспокоились, что подтянули минометы и начали обстрел этого места. А мы уже были далеко. В три часа ночи перешли фронт у села Митяева. Отправили нас в тыл, а под Москвой шли тяжелые бои, и я каждый день подавал рапорты об отправке на фронт, в действующую армию. Да и не я один. Так что нам с тобой не унывать, а радоваться надо, что воюем. Так?

— Так точно, товарищ лейтенант!

— Ладно. В партию не думаешь вступать? Ты ведь комсомолец еще довоенной поры.

— В последний день войны, товарищ лейтенант. Так решено.

— Вон ты какой, — улыбнулся замполит. — Ладно, подумай. А за рекомендациями дело не станет. Я за тебя готов поручиться. Да и капитан Ивнев тебя хорошо знает...

— Подумаю, товарищ лейтенант.

ПОСЛЕ ПЕРЕПРАВЫ

Зарево над горевшими городами было видно за многие километры... Все время — тяжелые бои, марши по плохим дорогам и без дорог. Переправы без мостов, осенние топкие болота, незнакомые озера с открытыми плесами.

Ночь, одна из многих...

Огонь... Тусклые языки жмутся к земле, лижут отражение тепла. Вдруг какой-то шальной удар прекращает агонию: бревна разлетаются, словно щепки, терем рухнул, приподнявшись сначала над землей. Снаряд угодил прямо в дом. Теперь мы видим черную, слепую воду, полосу берега. Справа в воде отражается пламя: несколько бревен, оставшихся на месте, горят, пожалуй, сильнее, чем раньше, взрывная волна положила их так, что образовался костер, и запах дыма стал явственнее.

Слева всплески весел... Черная лодка отчаливает от берега. Глаза привыкают к темноте. Я вижу причал в ста метрах от нас. Там заметно движение, кто-то отталкивает черное, обугленное бревно. Проступают звезды. Становится спокойнее. Перед нами речной простор, он скорее угадывается, чем ощущается. Выплывает темная громада парома, протягивает нам хобот трапа. Спешит к берегу второй паром, укрытый от прицелов немецких пушек темнею и черной, с летучими проблесками звезд водой.

Ветер усиливается, ноздри щеколет запах дыма. Пчелкин жует сухарь. Поливанов достает кисет.

Далеко на севере занимаются артиллерийские зарницы — бьют гвардейские минометы. Они словно сопровождают нас. Я не заметил, как вырос берег, и паром уткнулся в него. По настилу съезжают на берег пушки, глухой высокий кустарник гасит звуки. Мы уже на глинистой дороге с обочинами, развороченными машинами, с пустыми ящиками и железными бочками слева и справа, с глубокой колеей, проложенной до нас.

Только с рассветом начинаем окапываться. Сырая глина пристаёт к лопатам, на кирзачах по пуду грязи. Я скидываю шинель, чтобы удобнее было копать; проходит час, ещё час. Мы уже прочно вцепились в эту глинистую неприветливую землю. Перекур. Снова за лопаты.

И тут появились немецкие танки. Серые, медлительные под пасмурным небом, они скатывались с пологого холма. Их было немного, но мы их не ждали. Видно, они нащупали разрыв между нашими частями и пожаловали в гости к артиллеристам.

— Батарея, к бою! — звучит команда.

Пчелкин закинул снаряд в казенник. Я прикинул к наглазнику прицела, выбирая цель. Танки, судя по всему, ещё не видели нас, и можно было бы ударить по ним, но командир батареи выжидал: заманчиво было подпустить их ближе. У каждого орудия, я знал, наводчики вели перекрестия прицелов по броне вражеских машин. Сейчас будет приказ, подумал я, и в тот же миг прозвучало: «Огонь!» Это был короткий жестокий бой. Уставшие за ночь расчеты работали удивительно удачно.

Руки и лицо Пчелкина были темными, закопченными, и белели его зубы, когда он хватал ртом воздух. Тугие толчки от взрывов оставляли ощущение звенящей пустоты. Над землей, низко к ней прижимаясь, полз черный дым, и я ощущал резкий запах гари. Темные клубы тянуло к нашему орудью. И сквозь них я видел, как темным рубином вспыхнул огонь на склоне холма. Потом ещё один. Медленно, как в кино, падал срезанный снарядом вяз у подошвы холма, и жужжал, пищал невидимый комар в голове, пока плыл в панораме темно-серый куб танковой



башни. Взрывы оставляли чернеющие среди травы воронки. Потом все смолкло.

Три танка остались у подножия холма, четыре повернули назад. Наше третье орудие оказалось разбитым.

— Спасибо за подбитый танк! — Ко мне подошел Поливанов, сел рядом и как-то неуклюже пожал мою руку.

— Они хотели пройти к реке, — сказал я.

— Пожалуй. Им нужно было восстановить положение на этом берегу.

— Что было бы, если бы здесь не оказалось нашего дивизиона? — сказал Пчелкин и сам ответил на свой вопрос: — Был бы каюк. За этими семью танками прорвались бы еще двадцать. Пехота бы против них не устояла.

— Устояла бы пехота! — возразил Поливанов. — Что пехота, из другого теста, что ли, сделана? Пехота у нас что надо. Видал я, как раненые пехотинцы дрались. Санинструктор его перевязывает, а он пулемет не выпускает да еще норовит медика оттолкнуть, чтобы не мешал. Видал такое, нет? А я видал.

— Опять командир воспитывает, — хохотнул Пчелкин. — Что я, газеты, что ли, не читаю? А, командир? Или на политзанятия не хожу?

— Ладно, ладно, — примирительно откликнулся Поливанов, — теперь берег за нами остался. Полезут они снова не скоро. Это как пить дать.

— Капитан наш в рубашке родился, — с каким-то удивлением, словно делая открытие, проговорил негромко Пчелкин. — Так выведет и поставит батареи, что немцу хода нет. Не в первый раз замечаю.

— И правильно замечаешь, — поддержал я. — Позиции мы занимаем что надо.

— Капитан — голова, — солидно пророкотал Поливанов. — Он немца изучил и знает его очень даже хорошо.

ЗАКЛИНАНИЕ

У Западной Двины увидели мы незнакомый город. К северу от него реки поворачивают к Ильменю, к Ладоге по широким долинам, оставленным ледником.

Оттуда, с севера, пришел холодный прозрачный воздух. Когда мы вошли в городок, было ясное осеннее утро. Далекие дома и деревья обрели вдруг такую четкость контуров, что показались, будто до сих пор мы видели мир через запыленное стекло, а теперь его вымыли. Только раз до того я ощутил нечто похожее — в Староизборской долине, где вдруг открылись и заагели древние песчаники на фоне белых известняков и доломитов. Земля там такая, какой была она триста миллионов лет назад, в девонский период: можно не только увидеть, но и потрогать отпечатки и раковины ископаемых организмов. Гирлянда озер, соединенных речными протоками, овраги и балки высветились, точно акварель. Там высится у окоема могучие стены крепости Жеревьей, там красные песчаники похожи на застывшую кровь, там потомки Ророга, Сокола русского, на руках носили ладьи

через крутые волокни. Теперь вот рядом, в Белоруссии, мы стоим в полуразрушенном городке.

Ровное движение северных ветров, пролетавших высоко над крышами и несших холодную прозрачность, напоминает о веках и тысячелетиях. И вдруг время остановилось... Капитан Ивнев протянул мне маленький желтый конверт, прошитый нитками.

Почему капитан молчит, как будто ему трудно говорить, что с ним? Тот ли это человек, который гневался, когда встречал в условиях учебной задачи упоминание о противнике, дошедшем до Волоколамска? Что за письмо он нашел в разрушенной кирпичной кладке печи? Почерк детский... Вот оно... Вот оно что...

«Март, 12, Лиозно. 1943 год.

Дорогой добрый папенька! Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И моя просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери.

Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли. Когда допытывались о тебе, офицер бил ее плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала, вот ее последние слова: «Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж вернется назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков, отсюда вон». И офицер выстрелил маме в рот...

Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы сейчас ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички мне остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда кашляю, изо рта идет кровь — у меня отбили легкие.

А помнишь, папа, три года тому назад, когда мне исполнилось 12 лет? Какие хорошие были мои именины! Ты мне, папа, тогда сказал: «Расти, доченька, на радость большой!» Играл патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню.

А теперь, папа, когда взгляну на себя в зеркало — платье рваное, в лоскутках, номер на шее как у преступницы, сама худая как скелет, — и соленые слезы текут из глаз. Что толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят и убивают.

Да, папа, и я рабыня немецкого барона, работаю у немца Шарлена прачкой, стираю белье, мою полы. Работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с Розой и Кларой — так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон... Я очень боюсь Клары. Это большая и жадная свинья. Она мне один раз чуть не откусила палец, когда я из корыта доставала картошку.

Живу я в дровяном сарае: в комнаты мне входить нельзя. Один раз горничная, полька Юзефа, дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и долго била Юзефу плеткой по голове и спине.

Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали ведро воды и бросали в подвал.

Сегодня я узнала новость: Юзефа сказала, что господа уезжают в Германию с большой партией невольников и невольниц с Витебщины. Теперь они берут и меня с собою... Я решила лучше умереть на родной стороншке, чем быть втопанной в проклятую чужую землю. Только смерть спасет меня от жестокого битья.

Не хочу больше мучиться рабыней... Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать. Твоя дочь Катя.

Мое сердце верит: письмо дойдет».

...Я с трудом разобрал адрес на конверте:

«Полевая почта №... Сусанину Петру Николаевичу». На другой стороне конверта было написано: «Дорогие дяденька или тетенька, кто найдет это спрятанное от немцев письмо, умоляю вас, опустите сразу в почтовый ящик».

Я прислонился к стене и хотел еще раз перечитать письмо. Но не смог... не смог. Пospешно вернул письмо капитану. Отвернулся от него и стоял так с минуту у стены дома. Не мог смотреть в глаза капитану, не знаю почему... Руки дрожали, и я стыдился поднять голову, потом вдруг побежал, у поваленной изгороди нашел сухое место (горка опилок), бросился ничком на землю.

Я был беспомощен и слаб, и небо вдруг опрокинулось мне на голову, стало низким, слепым, бесцветным. Я лежал на опилках, я был мертвой птицей.

Птичье сердце, легкий
оперенный камень,
ты с ветром падаешь
в туман. Тебя равнина
принимает. В траве след смерти,
краткий, словно путь улитки.

Кто-то поднял меня, чьи-то теплые руки поставили меня на ноги, и я пошел, опустив голову, и что-то бормотал на ходу. Рука капитана лежала на моем плече. Воздух резал глаза, солнце уже садилось, и было по-прежнему тихо — ни звука, ни шума.

Капитан молчал. Он крепко держал меня за плечо, так крепко, что я пришел в себя, опомнился и о чем-то заговорил с ним. Потом — какой-то потерянный, долгий вечер, я все порывался куда-то идти, бежать. Куда? Не знаю...

Ночью я шептал странное заклинание. На подоконнике дрожали полоски лунного света, и я смотрел на них так, как смотрят на открывшееся чудо: теперь все, что я видел, слышал и делал, обретало особый смысл.

Мое заклинание начиналось с древних слов: как будто отворились двери, через которые проник старый, настоящий на травах воздух, окропленный дождями. Старые книги услужливо шуршали страницами...

«Заклинаю силы существующие и несуществующие...» — шептал я.

«Заклинаю именем всего, что было здесь, на этой земле, под землей и под водой... пусть прибавится гнева и силы... Пусть всколыхнет море и обрушит берега земли страшный северный зверь Индрик, пусть смешаются века и тысячелетия, потому что пришел конец всему, во имя чего светило солнце, текли реки, рождались люди...»

Станный, косноязыкий шепот... Я произносил вслух древние имена и заветы, и становилось легче.

«Заклинаю именем тех, кто жил на этой земле... Именем Аскольда и Дира, Олега, Святослава и Мстислава, Владимира и Всеволода, Юрия и Ольги, Андрея и Пересвета, Осляби и Александра, Ивана и Петра...» И нескончаемым потоком текли странные древние имена, и поток этот успокаивал, обещал... Что же?

Только одно — ярость.

«Превращусь я в волка, и увижу врага, и побегу за ним, и буду гнать его, пока не загрызу и не задушю. Пусть останутся во мне только сила и ярость. Но если я не увижу врага с земли, пусть превращусь в сокола, и увижу его сверху, и догоню его, и растерзаю, расклюю и разорву на части...»

БЕЖЕНЦЫ

Опять беженцы! Из осеннего леса вернулись к бывшим своим домам. По грязи идут босые дети. Вместо лиц — серые комочки, у старух — жилистые натруженные ноги. В узелках несколько вареных картошек, ржаные корки, отруби с древесной размельченной корой. У иных голова покрыта тряпичей, у детей — старушечьи платки с каймой. Под платками — ветхие платья или изношенные отцовские пиджаки, драные, прожженные огнем лесных костров; лица серьезные, без улыбок, без любопытства. Нет в них радости, нет света.

На споревшем дворе у поваленного столба старуха берет пятилетнюю девочку за руку, дает ей узелок и наказывает поспидеть, а сама берет в руки нож и пытается настрогать щепы. Я подхожу к девочке, сую хлеб. Глаза у нее серые, дикие... Рука ее холодная, как ветка весеннего дерева. Она смотрит на меня из-под рваного платка. Я догоняю своих, ветер выжимает из глаз какие-то странные капли, и преследуют эти серые русские глаза.

И тогда, как причуда памяти, приходят слова народной песни...

Ходила сиротинка
По чужому полю,
Искала сиротинка
Батюшку родного,
А нашла студену воду
В рубленом колодце.
«Всколыхнись, вода,
Подымись, волна,
В рубленом колодце —

Откликнись, мой батюшка,
На чужой сторонце.
Не всколыхнулась вода
В рубленом колодце,
Не откликнулся батюшка
На чужой сторонце.

Зима... Полусожженная деревня...

Снег, серый от пепла, и ветер крутит этот серый снег вдоль дороги до самой околицы, где стоят виселицы. Их девять.

Три молодые женщины, полураздетые, со слепыми лицами и с голыми посиневшими ногами, головы их с разметанными волосами присыпал белый снег, над ними — светлое подслеповатое небо. У одной из женщин рука сложена и прижата к сердцу, она точно примерзла к ее груди, и пальцы были неестественно широко растопырены. У другой, тоненькой, хрупкой девушки, широко открыты белесые слепые глаза. У третьей женщины на обнаженной спине — багровая звезда.

И еще шесть виселиц... Мужчины в ватниках и рубахах, среди них молодой парень с русым чубом, в косоворотке. Здесь, у виселиц, я увидел Серегу Поликарпова с нашего двора. Я знал, что он санитар, что держался он молодцом, но встречались мы редко. В нем еще много осталось от московского подростка, санинструктор опекал его, и это ему не нравилось. Сейчас же я едва признал в нем прежнего Серегу: глаза его красноречивее слов говорили о пережитом. Я отвел его подальше от виселиц: — Пойдем, пойдем, Серега!

* * *

Дивизия наша с февраля стояла в обороне. Строились дзоты, блиндажи, траншеи, ходы сообщения. Саперы минировали подходы к переднему краю. «Царица полей» — пехота глубоко вгрызалась в землю. Под вой зимних ветров солдаты долбили промерзшие склоны балок и холмов, и я с горечью думал о том, что теперь придется провести здесь не одну, наверное, неделю. А там, впереди, сколько еще было нашей земли, ожидавшей освобождения!

Весна не принесла перемен. Выдавались спокойные, ясные дни, когда медленно тянулись на север караваны птиц. Затишье сменялось военными тревогами. Немцы пытались атаковать. Но позиции наши были укреплены: зимние труды не пропали даром. Дивизион помогал отбивать вражеские атаки, в иные дни все батареи вели огонь по пехоте и танкам.

В затишье капитан не давал скучать ни огневикам, ни управленцам. Степенный, рассудительный Поливанов растолковывал мне обязанности командира орудия, обучал сержантскому ремеслу. Делал он это основательно, методично, я начал было отмахиваться от его постоянных поучений, но сержант осадил меня:

— Нужно, чтоб ты готов ко всему был. Тогда ты солдат! На капитана равняйся: поставь его к орудию, он один управится. Да лучше нас с тобой!

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

И снова лето.

У холмов на опушке далекого леса земля ошетижилась пулеметами, автоматными дулами, черными жерлами пушек. Но ничего этого, конечно, не видно: все замаскировано, закопано в землю с немецкой тщательностью. Это можно только представить. Сегодня наша артиллерия долбила передний край немцев. Наша батарея дала восемь залпов.

Мы не могли видеть, как наша пехота при поддержке танков пошла в атаку. Только слышны были оружейные выстрелы, глухие пулеметные очереди, сухой треск автоматов.

Постепенно звуки боя стали утихать: наши, видимо, прорвали первую полосу обороны немцев и пошли дальше. Установилось затишье.

Мы сидели, как обычно, на станине пушки. По какой-то странной прихоти я пригладился к зеленой теплой земле за краем бруствера. Маленький мир продолжал жить своей жизнью. Притаился кузнечик в примятой траве. Крылатый муравей тащил мертвую гусеницу. Он вцепился в нее своими отменными челюстями и быстро перебирал ногами, а песчинки, отбрасываемые ими, катились, лишали его опоры, и дело продвигалось плохо. Я нагнулся. Крохотная мушка бежала вслед за муравьем с его ношей, нагоняла его, заползала на гусеницу и на какое-то время становилась пассажиром этой медлительной упряжки. Потом муравей делал рывок, и мушка ретировалась, останавливалась, замирала на месте, словно присматриваясь. Крылатый муравей удалялся на некоторое расстояние, и погоня возобновлялась. Мушка быстро нагоняла его, но каждый раз все начиналось сначала.

Я вынул из своего вещмешка деревянный портсигар, который подарил мне еще в партизанском отряде Станислав Мешко. Как давно это было! Его сильные руки так тонко чувствовали вязкую податливость дерева, так спорно работали, что скоро почти все партизаны были одарены табакерками, деревянными ложками, топорищами и черенками для лопат.

Пчелкин тронул меня за плечо:

— Откуда у тебя портсигар, Валь? Ты же не куришь.

— Его мне друг Мешко подарил.

— А кто такой Мешко?

И я рассказываю ему о Станиславе. Собственно, что я такого о нем знаю? Да ничего особенного. В памяти моей возникает людская река, и в ней я ловлю черты многих людей, запомнившихся иногда по одному дню знакомства, по одному бою, по случайному привалу или просто вечеру у раскаленной докрасна печурки. В этом потоке я выделяю капитана Ивнева, которого я знаю больше и лучше всех и который все же остается загадкой для меня до сих пор. Затем Скориков, ребята из расчета... Некоторые уже погибли. А воевать осталось, наверное, несколько месяцев. Два, три, четыре боя, быть может, десятков...

— Не могу привыкнуть, — говорю Леше. — Точно вторую жизнь живу. Были люди со мной настоящие. Где они? Нет их. Один капитан остался. Да еще Скориков.

— Ты про это лучше не падо, — вмешивается Поливанов. —

Жизнь у нас одна. И осталась она далеко. Вон у него, — он кивнул на Пчелкина, — настоящая жизнь на Волге осталась, так?

— Так, командир, — отвечает Пчелкин. — Там буксиры тащили по реке огромные плоты, и от елового дерева такой запах, что с закрытыми глазами к берегу речки придешь. А к концу лета баржи с арбузами. За мешок арбузов раз полбаржи разгрузил!

— Но, но!

— Да правда, чего там! Со мной вся улица разгружала. Мальчишек набежало видимо-невидимо.

— Ну, это другое дело, — кивнул Поливанов.

Круглое веснушчатое лицо Леша морщится от удовольствия: видно, вспомнить довоенное мальчишечье прошлое ему так приятно, словно побывал он на крутом берегу у деревянной старой пристани, где летом аппетитно пахнет копчеными лещами.

— Врать здоров! — смеется Поливанов.

— А сам-то! — возражает Пчелкин. — Про свою Судогду расскажет, так хоть стой, хоть падай. Там у него налимов можно руками ловить. А в грибной сезон в лес грузовик вызывают, две тонны одних подосиновиков и белых.

— А что? Две тонны много, что ли?

— Во, выдал? — оборачивается Пчелкин ко мне. — Ты уже, поди, сотни две километров с нами прошел, а много ли грибов в здешних лесах видел? А у него все по-другому.

— Перед войной грибов было много, — примирительно говорю я. — Сам любил грибы собирать. А в окружении, как назло, чаще всего одни сыроежки попадались да волнушки. Из них и суп-то не сварить.

— Чем же питались?

— Да ничем. Изредка рябина попадалась...

Может быть, и дальше продолжался бы этот немудреный солдатский разговор, если бы не заглушил наши слова натужный рев двигателя: на взгорок по проселку, ведущему в наш тыл, в каких-нибудь ста метрах от орудия, вползал танк, оставляя за собой сизый шлейф дыма.

— Смотри, наша тридцатьчетверка! — крикнул Леша Пчелкин. — Чего это она сюда ползет?

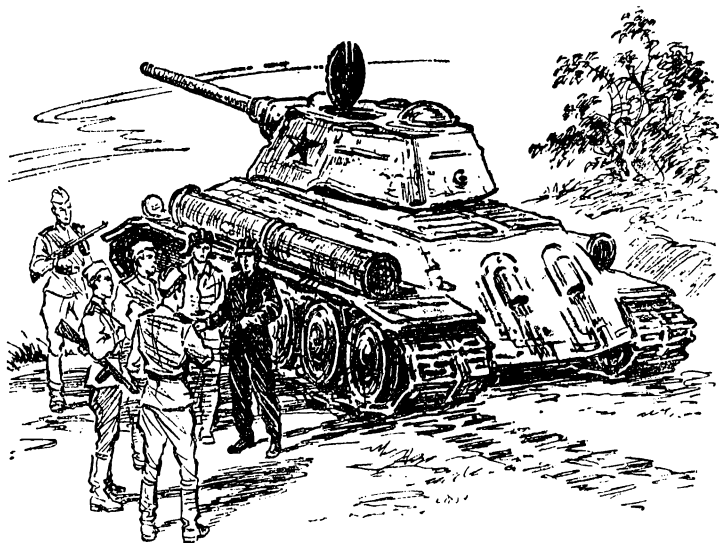
Преодолев подъем, танк уже побойчее побежал по дороге и у самого нашего орудия остановился, гаркнув мотором.

Из люка вылезли двое.

— Есть закурить, ребята? — спросил тот, что повыше.

Поливанов подошел к танкистам, протянул кисет. Потом подошли мы с Пчелкиным и услышали окончание истории. Была она простой и короткой, и начало ее нам не надо было рассказывать...

Танкисты вырвались к позициям немцев, опередив пехоту. Прильнув к прицелу, командир экипажа видел колючую проволоку, траншеи, ходы сообщения. Затем танк спустился в низину, и в поле зрения остался пологий зеленый склон. Через минуту-другую машина поднялась к самой линии окопов, и в прицел попала фигурка в серо-зеленой форме. Заработал пулемет, фигурка споткнулась и раскинула руки в коротком полете. Танк взобрался на гребень холма, и тут командир экипажа увидел



вражеское орудие. Не хватало двух-трех секунд, чтобы прицелиться. Танк содрогнулся от удара и застыл на месте: перебило левую гусеницу.

Командир осторожно открыл люк. Он и двое других спрыгнули на землю. Механик-водитель змеей выполз наружу. Они лежали у своего танка, и механик пытался выяснить, смогут ли они наладить гусеницу. Командир увидел: к ним приближались немецкие автоматчики, припадая к земле, прячась в редких кустах.

— Будем держаться, наши близко! — крикнул он.

Танкисты переглянулись, но не сказали друг другу ни слова. «Последний патрон для себя», — решил командир. Ему было двадцать два.

Резко, пронзительно-свистяще ударили по броне танка первые очереди. Танкисты отстреливались. Командир видел, как вздрогнул и затих навсегда башнер, лицо и шея его были залиты кровью. Ранило заряжающего.

Вдруг по загривку холма заплясали огненно-дымные смерчи. Вокруг завывало на сто ладов, и земля поднялась вверх, смешавшись с бурыми и черными тучами дыма. То тут, то там поднимались смерчи. И все вокруг уже было перепаханό ими. «Катюши», — догадался командир. Эх, чуть бы раньше! Холм был мертвым, над ним курились дымы, только танк каким-то чудом уцелел.

Командир перевязал заряжающего. Потом они с механиком-водителем натянули гусеницу на первый каток, так как ленивец был разбит. Погрузили погибшего в танк.

— Двигаем теперь в рембат, — заключил командир танка.

Поблагодарив за табачок, танкисты распростились с нами. Чихнув мотором, танк пошел по проселку.

* * *

— Поливанова к командиру батареи! — раздался чей-то звонкий голос, и мы враз смолкли.

Через несколько минут командир орудия вернулся.

— Топаем на новые позиции, — просто сказал он. — Приготовиться!

— Есть приготовиться! Скоро?

— Что — скоро?

— Двинем скоро?

— Какой ты дотошный, Никитин, все бы тебе... — Он не договорил и махнул рукой. Потом зло и весело добавил: — Вот нам всем бы рты позавязать и не развязывать, а то как будто до войны языком не успели поработать!

И вот мы на марше. Машины пересекли следы от гусениц, выбрались на плохонькую дорогу. Где-то далеко слышались голоса орудий. Дорога свернула, и сплошь пошли места, не тронутые огнем. Проворная пичужка с малиновой грудкой перелетела за нашим грузовиком дорогу и уселась на сохлой ветке крижистого дуба. Я следил за ней, пока не заслезились глаза.

— Теперь только на запад! — крикнул Пчелкин, и все его геснушчатое бесхитростное лицо засветилось.

Вот с такими, как он, я валился от усталости, ночевал в темных ельниках на иглице, в травяных балках с дождевыми ручьями, с родниками, на заспелых опушках со следами зверей и людей на девственном снегу. И небо чаще всего было неласковым, хмурым.

* * *

Поздней ночью, когда руки мои горели от лопаты, когда мы повалились на дно окопа, подстелив травы, веток и накрыв эту мамонтову радость шинелями, я не мог заснуть.

Прозрачная ночь глядела на меня россыпями сверкающих звезд. Неровный светлый пояс Млечного Пути перепоясал высокое небо. Я зачарованно приподнял голову и увидел, что на севере полыхали зарницы. Оттуда, с севера, доносился глухой рокот канонады. Наверное, там стояли части тяжелой артиллерии, и сейчас выдавались дивные мгновения, когда весь горизонт казался охваченным сиянием. Я подумал о возможности большого наступления. Закрыл глаза, но сон не шел.

Раздался писк, потом — легкая возня. Откинув шинель, я обнаружил среди веток, на которых лежал, несколько полевок. Мыши забились под мою шинель в поисках тепла. Ночь была прохладной, как всегда, когда небо так прозрачно. Я даже не сделал попытки прогнать непрошенных гостей. Пусть греются под солдатской шинелью.

Посветлело. В серых предрассветных сумерках я перечитывал письмо матери. Перечитывал, почти не глядя на строчки, введенные ее усталой рукой (писала письмо после смены!). Поэтому что помнил его почти от слова до слова. На четырех тетрадных страницах она рассказывала о том, как в первую зиму грелась они на заводской площадке у костров. В незаконченных

цах и корпусах — без окон и без крыш — начали работать и собирать машины. Какие машины — она не писала, но я догадывался. Теперь работать гораздо легче. Строительство закончено. Приехало много новеньких. Они быстро осваивают специальности. Сама же она работает бригадиром, учит новичков. Но ей хочется снова вернуться к своему станку.

Она просила писать о себе поподробнее. Я много раз обещал ей сообщать все о себе, но обещаний этих почему-то не выполнял. Много позже я понял, что не мог тогда рассказать об этих тревожных коротких ночах, о боях и маршах. О рытвинах, распутице, замерзших глыбах осенней грязи. О заснеженных бесконечных полях сорок третьего — сорок четвертого...

Я боялся, что слова будут сухими, непохожими на правду. И потому письма мои были благополучно-обнадеживающими. И я даже искренне верил, что ей приятно получать именно такие письма.

Нередко передавал приветы Наденьке в Войново. О ней теперь вспоминал я с двойственным чувством. Была ли у меня де-вущка? Задавая себе этот вопрос, я с беспощадной ясностью думал о военвраче Лидии Федоровне. Хотя это казалось далеким прошлым, но воспоминания жгли, гнали прочь мои рассуждения не рассчитывал. А мама молчала: ни слова о Наденьке, как буд-дущем, о встрече с Наденькой, на которую я уже и то ее вовсе не существовало на свете. Только однажды она мельком упомянула о ней. Но как!.. У каждого, мол, своя жизнь, своя судьба. Из этого я мог заключить, что с Надень-кой ничего не случилось, что она жила в своем Войнове по-прежнему, но что-то все же произошло. Не случайно ведь Надя не ответила на мое письмо, посланное зимой. И я, конечно, до-гадывался, что именно могло произойти... Но какое, собственно, я имел на нее право?

Наверное, я был еще очень молод...

Иногда я отчетливо видел лицо Лидии Федоровны. Но чаще память моя восстанавливала с пугающей достоверностью один день или вечер. И тогда я до боли сжимал пальцы, мои губы шевелились, глаза закрывались, перед ними возникало сильное женское тело. Я вскрикивал, изображение, если это можно так назвать, рассыпалось, и я видел как будто мозаику, но и там в каждом осколке, всюду виделось мне одно и то же, и я не мог справиться с этим.

Но странно: чем чаще я видел ее, тем меньше было желание писать ей... Несколько ее писем я хранил, они были короткими, сухими, несерьезными какими-то, и ни одно из них не передава-ло того, что я искал.

Однажды на рассвете я услышал ее голос, она тихо сказала: «Валя!» И я встал и пошел умываться в озерке, вошел в холод-ную воду под луной. Потом сбросил руками капли воды с шеи и лица, медленно побрел назад.

ПОЕДИНОК

Машины шли с погашенными фарами, шины их, казалось, на-ходили дорогу ошупью. Луна появлялась изредка. Под утро на-гнало облаков. Борта машины дергались от неожиданных попа-

даний в кювет. Было прохладно, я поднял воротник шинели, съежился и сидел так, дремал.

Мы выехали на открытое место, стало еще прохладнее, но и посветлее зато: было хорошо видно полотно дороги. Слева угадывались далекие холмы — над ними не было ни звезды. Тут кто-то сказал, что мы проскочили линию фронта. Дрему как рукой сняло, я поднял голову. Мы двигались теперь шагом, если так можно сказать о наших машинах. Проселок был на редкость не ухоженный, с колдобинами и рытвинами, с поваленными деревьями поперек (от бомбежки?), с какими-то густыми куртинами желтых высоких цветов, вылезших на дорожное полотно. Может быть, этим летом мы были первопроходцами в этом забытом богом и людьми месте. Четверть часа нас трясло и мотало, потом вынесло на хорошую дорогу.

— Совсем светло, — сказал Пчелкин.

— Теперь жди команды «воздух!», — заметил Поливанов.

— За этим дело не станет! — подтвердил я. — Тут и свернуть некуда, придется в машинах отсиживаться.

— Ну да! — сказал Пчелкин.

И тут я увидел едва заметную, глубинную улыбку Поливанова. Резко обозначились морщины у глаз... Да, тогда, в сорок первом, я едва ли бы смог заметить, как улыбаются наши командиры орудий и батарей.

«Над чем смеется! — подумал я. — А если вправду сейчас пойдут на нас «юнкеры», им с разбегу, вдоль дороги, очень сподручно нас превратить в мочалку...» Но тут же снова посмотрел на Поливанова и на притихшего Пчелкина, и мне самому захотелось улыбнуться.

Я знал, что Поливанов воевать начал в сорок первом, под Москвой.

— Да, у деревни Козино, — подтвердил он, вспомнив те дни. — В начале декабря, перед самым нашим контрнаступлением. Только тогда и понял, что немцу к столице никак не пройти. Своими глазами видел. Что тут рассказывать! Нужно эти их подбитые танки руками пощупать, чтобы и в пушки наши, и в земляков своих до конца поверить и потом уж с этой верой идти вперед. Да, деревня Козино...

Поливанов служил тогда тоже в артиллерийском полку. На деревню пикировали «юнкеры» и «мессеры», пулеметные очереди долбили стены церкви, где оборудован был наблюдательный пункт. А на лед реки Порки, что течет в сторону Волоколамского шоссе, выползли немецкие танки и выкатились грузовики с пехотой. Видно, приглянулась немцам речка с метровым льдом, и решили они использовать ее вместо шоссе. Тогда батарея и получила приказ накрыть их огнем.

— Особенно не повезло неприятельской пехоте на грузовиках, — с хмурой улыбкой вспоминал Поливанов. — Десяти машин немец недосчитался. К этому прибавь пять танков, которые сгорели на месте.

* * *

Перед нами была поставлена задача оседлать шоссе и железную дорогу, по которым должен был отходить противник. Ноч-

ной бросок в сорок километров позволил выполнить первую часть задачи. Мы вышли к шоссе, заняли железнодорожный разъезд...

На втором пути шипел дежурный паровоз — это напоминало вздохи уставшего, замученного зверя. Безлюдье. Откуда ни возьмись броневик с черепом и крестом на борту. Мы замерли. Гортанный возглас на немецком. Громкий хлопок, неожиданное движение воздуха. Это ударила замаскированная пушка у первого пути, за вагонами. Броневик остановился, дернулся. Еще удар... Машина зачадилась, как паяльная лампа. Очереди. Снова тихо и тревожно в ожидании немецкой контратаки.

...На медной тепловатой гильзе сидит темная бабочка-репейница с оранжевыми полосками и пятнами. Ее крылья сходятся и снова открывают вышивку; она не хотела улетать, но я спугнул ее, чтобы не задеть ненароком.

...Немецкий танк поднимался на взлобок, рыжеватый от солнца и сухой от травы. Вот он остановился. Хлестнула пулеметная очередь. В это время Пчелкин зарядил пушку. Огоны! Снаряд ударил по башне, срикошетировал, выскочил искры. Другой снаряд поджег танк. Из перекрестия прицела теперь, точно тени, выскальзывали немецкие танкисты.

Я не заметил, как вблизи нашего орудия разорвался снаряд, только почувствовал, что воздух вокруг воем выскочил из горячих металлических осколков. Оглядевшись, увидел: Поливанов вдруг прислонился к щиту и стал оседать. Снова резанули воздух осколки. Я тормозил Поливанова, рука моя попала в мокрое липкое пятно на его гимнастерке. Он не отзывался, я беспомощно оглянулся. Леша Пчелкин безжизненно лежал рядом ничком, и ладонь его накрыла снаряд, который он не успел закинуть в казенник.

Показался второй танк. Он поднимался на взгорок левее первого танка. Я прильнул к прицелу и тут только понял, что бесполен, и это бессилие было страшнее смерти: прицел был разбит. Немецкий танк на взгорке медленно поворачивал башню. Его пушка выплюнула горячую струю. Но не в мою сторону. И это бесило. словно там, в танке, немецкий экипаж понимал, что наш расчет мертв.

Простая истина открылась мне в эту горькую минуту: к нашим позициям прорвались немецкие танки и, может быть, нашего орудия как раз недостает, чтобы покончить с ними.

И тут же я заметил какое-то движение в кустах, за ниткой запасного железнодорожного полотна, присыпанного землей и заросшего татарником и полынью. К орудию короткими перебежками приближались четверо немцев. Как могло получиться, что они так быстро прорвались к батарее? Вместе с ударами крови в висках таяли секунды. Пришло решение: я сделал вид, что не заметил их. Еще перебежка, они прячутся за чертополохом, за высоким пыльным татарником... Я проверил автомат и поставился поймать тот самый момент, когда они поднимутся в последний раз, чтобы кинуться к орудию.

Вот оно, мгновение! Я ударил длинной очередью, и двое как бы нехотя, медленно упали в татарник. Двое других открыли огонь. Но я уже лежал за станиной пушки и не отвечал.

Минута, другая... Они подняли головы, были видны каски. Еще минута. Они выскочили и бросились к орудию. Очереди схлестну-

лись. Щеку обдало теплом. Оба лежали, и руки мои от волнения подрагивали.

И тогда я увидел совсем рядом офицера. Он возник как привидение в пяти шагах от меня. Я услышал шелканье затвора: оружие его отказало, и он кинулся на меня. Я успел ударить его автоматом по плечу, мы схватились. Рослый, сильный немец... «Вот она, встреча», — отчетливо прозвучало в голове, когда мы падали на почерневшую от угольной пыли и сажки землю. Он хотел отбросить меня, ударив ногой, но я увернулся, и он потерял равновесие. Мы оба упали боком, и я никак не мог дотянуться руками до его шеи.

Кажется, он одолевал меня: я никак не мог справиться с его жилистыми руками. Но вот увидел его глаза, встретился с его испуганно-раздраженным взглядом и почувствовал, что он не сможет меня одолеть. Пришла минута ярости, когда тело становится легким, кровь вскипает и само сердце направляет всю силу рук, странную и необъяснимую. Ему удалось освободиться от моей хватки, подняться на ноги, но в следующее мгновение мы снова катались по грязно-серой траве.

Шумно-прерывистое, судорожное дыхание, резкий вскрик... пальцы, впившиеся в чужое тело, и хрипы, и стоны, и качающееся холодное небо... Мы изнемогли. Я не ощущал боли, меня наполнял расплавленный металл, и алые его струи будто бы поднимали меня над землей, и жгли сердце, и бились в виски.

Я ударил врага в подбородок, голова его дернулась, и я успел удивиться. Неужели удар был таким сильным? И он понял все... В болотного цвета глазах его мелькнул страх... Мы каким-то непонятным образом оказались у самых рельсов, полускрытых травой и татарником, и шея его оказалась между ржавым рельсом и моими руками; и, как он ни бился, руки мои не сдвинулись ни на миллиметр, словно повинувшись моему взгляду. Лицо его побавровело, глаза стали круглыми, бессмысленными, остывшими...

Гул возник в ушах, поплыли куда-то высокие заросли татарника под сумрачным небом без красок, без голубизны... Долгая минута неподвижности... Потом я увидел медленно вращавшиеся облака. Они бежали по небосводу, и я хотел их остановить. Полуприкрыв глаза, я видел это ожившее небо и понимал, что причина его необычности во мне самом. Словно повинувшись мне, движение замедлялось, сгустки облаков замирали над моей головой. Все становилось понемногу на свои места. Возник странный гул и свист. Это было как далекий отзвук паровоза, уже, впрочем, не существовавшего.

Я раскрыл глаза. Небо как зеркало: над моей головой всё обрело краски, глубину, рекой заструился воздух. Свежесть его росла с каждым вздохом, пока грудь не заломило от нее, и необыкновенные мысли приходили и улетучивались, пока я лежал без движения...

Теперь я слышал, как гулко билось сердце. Удары его были тяжелые, мерные, и все мое тело откликнулось на них. Я приложил ладонь к теплой земле, и она тоже, казалось, пульсировала вместе с моим сердцем. Я ощутил покалывание песчинок, то усиливающееся, то ослабевающее, уловил сухость их, и мне не хотелось отрывать от них ладонь, не хотелось вставать. Наверное, я уснул бы, если бы не заставил себя подняться.

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ. ЗИМА

Все чаще становилось не по себе, когда я вспоминал товарищей, которых уже не было со мной. Шла последняя осень войны. С рассветом над польскими городами вставали артиллерийские зарницы.

С месяц мы были в нашем тылу, дивизион пополнился людьми. Глебу Николаевичу Ивиеву присвоили звание майора. Меня назначили командиром орудия. И я невольно подражал Поливанову, старался быть рассудительным и спокойным, хотя, конечно же, мне это плохо удавалось.

В один из дней поздней осени дивизион погрузился в эшелон и двинулся на запад.

Дым из высоких труб стелился над землей, смешиваясь с низкими туманами. Пахло каменноугольной пылью, прелой листвой, изредка виднелись остовы сгоревших домов. Куда-то тянулись женщины в полушалках, скрипели деревенские дрожки, мальчишки шныряли у полусгоревшего немецкого танка.

* * *

Зимой тяжело рапило Воронько, с которым я ходил когда-то в разведку. Что-то хлестнуло по снегу справа от него, потом еще... На минуту затихло все, и вдруг удар в плечо, как будто обожгло. «Ранило», — понял он, а впереди снова взметнулся снег, и он инстинктивно вжимался в белое поле, а внутри, казалось, начинала звучать какая-то незнакомая музыка. Михаил Воронько не узнал мелодии, сначала это были нестройные звуки, которые почти сливались с дыханием, так они были глухи... Словно ветер гудел в ушах. Потом стало слышнее: это была знакомая мелодия, но он не мог вспомнить ни названия, ни композитора.

Он повернул голову и увидел, что снег прожжен капельками крови и шинель потемнела на плече от раны. Он боялся пошевелить правой рукой — она лежала неподвижно, как будто ему не принадлежала. «Нужно ползти, — решил он, — ползти...» Куда? У леса, над серой полосой низкого ровного кустарника, взметнулся снег. Опушку затянуло голубоватым дымом, и он видел, как там передвигались маленькие темные фигурки людей; ему казалось, что это было далеко-далеко и где-то вверху. Горизонт качнулся. Он положил голову на здоровую руку и застался.

Снова зазвучала в нем музыка. Он не узнавал ее, да и не пытался теперь узнать. Она усиливалась помимо его воли, как будто даже вопреки мысленному приказу: «Тише, тише!» Он знал теперь, что это была за музыка, от нес уже начинала кружиться голова, и он знал, что никуда не поползет, а останется здесь... Навсегда.

Он закрыл глаза и убедился, что боль прошла, как будто плеча не было вообще, но он куда-то поднимался вверх, точно волна подхватила его и понесла на своем сильном гребне. Он открыл глаза, приподнял голову над этой невидимой волной, чтобы убедиться, что он может освободиться от ее власти.

Смеркалось. Перед ним расстиралось голое поле, а справа неровными уступами бежал темный, точно нарисованный, лес, даль была безбрежной. С высоты было хорошо видно, как последний гребень леса сливался с потемневшим небом. Воздух был колючим, холодным, под стать этому бесконечному, однообразному пейзажу.

Глубокий невольный вздох... Сердце два раза сильно стукнуло в грудь, и он потерял сознание. Устюжанин и Скориков вынесли его с простреливаемого снежного поля.

...В эту же последнюю военную зиму стал разведчиком Сергей Поликарпов с нашего двора. Это была его давняя мечта. Теперь он редкими спокойными вечерами захакивал к нам в расчет, покуривая, слушал наши рассказы и жалел, наверное, что ему самому пока рассказывать не о чем.

ГОЛУБОЕ УТРО

Солнце выглянуло из-за дымчато-зеленой весенней рощи. Тени в лощинах казались сгустившимся воздухом. Посреди поля выросли разрывы, перед нами вздымалась земля. Снова ударили минометы — снаряды легли у наших позиций. Вот уже и разрывы за нашей спиной...

Поле застилал теперь дым, и оттого утро казалось серо-голубым, а вверху рдело остановившееся облако, и восход рассыпал бело-розовые огни на холмах.

Над головами загудел воздух: наши гвардейские минометы пускали в полет светящиеся стрелы.

Мы молчали, справа две батареи тоже молчали, и я подумал, что зря мы, выходит, здесь стоим, как вдруг увидел танки.

Сначала показалось несколько средних танков — они вылезли из рощи и удивительно спокойно пошли по голубоватому полю. Я стал считать... Пять... еще три... Молча, без единого выстрела, стальной клин подползал к нам.

— Приготовиться! — Я сказал это двум юнцам в гимнастерках, только что пришедшим на батарею.

Один из них все смотрел и смотрел на это голубое поле, потом скороговоркой пробормотал, обращаясь ко мне:

— Смотрите, товарищ сержант, еще их прибыло.

И тут я увидел: из лесу выползали «тигры». Немцы берегли своих «зверей», как будто они действительно были живыми, эти бронированные громадины с прямоугольными стальными гранями.

Средние танки вышли на середину поля, развернулись и пошли на вторую и третью батареи, стоящие правее нашей. Танки выплевывали тусклые снопы огня. Справа гукнули наши пушки. Остановился и задымил Т-IV. Началась дуэль. Вспыхнул еще один средний танк, вырвавшийся вперед. «Тигры» шли по полю, пока неуязвимые и грозные. Били по обеим батареям и ползли вперед. И вот один из них развернулся и подставил борт под орудия нашей батареи. Последовал приказ: «Огонь!»

Мой расчет бил по головному «тигру». Молодой наводчик, видимо, никак не мог правильно выбрать точку прицеливания, и три бронебойных снаряда прошли мимо цели. И тогда я сам становлюсь к прицелу. Перекрестие прилипает к броне. Оружие сердито рявкнуло. Глаза мои там, куда я навел орудие. Удар я как будто услышал! Танк остановился, задымил.

Не помню, сколько выстрелов сделал расчет в этом, одном из последних боев. Заряжающий Федя Лосев прокричал в самое ухо:

— Товарищ сержант, снаряды кончаются, два осталось!

— Валешко! — скомандовал я подносчику. — Живо за снарядами!

...Валешко тянул брезент, на котором лежали два ящика со снарядами, и ему казалось, что он никогда не доползет до батареи, и земля уже качалась, и не было возможности остановить ее. Легко ли ползти по наклоняющейся, падающей, шатающейся поперек движения палубе?.. Иногда все заслоняло небо — холодное, лиловое от дыма, безрадостное. Валешко остановился, ждал. Вдруг приходила светлая минута, тогда он тянул брезент, снова полз, до тех пор пока не повторялась эта досадливая история с качающейся палубой.

Дыхание было совсем никудышным, точно легкие его прохудились и воздух постепенно выходил из него, вместе с ним уходила жизнь. «Еще немного, — думал он, — совсем немного...» Он не понимал, что со стороны движение его к батарее было незаметно, и можно было подумать, что он уже убит. Ему казалось, что ползет он довольно быстро по этой качающейся земле и все будет в порядке, стоит только миновать вот эту неглубокую балку.

— Валешко! — громко крикнул я.

«Ждут меня», — подумал, наверное, он, если услышал, и заработал локтями и коленями. Но двигался все медленнее и медленнее...

Пригibasь, побежал к нему навстречу Федя Лосев. Валешко в эту минуту был еще жив. Лосев схватил брезент, быстро дополз до орудия...

И в это время ударили «катюши». Гвардейские минометы били по танкам. Поле стало от огня ржавым, над ним стелились два слоя дыма, темный и светлый, и над верхним слоем, над сероватой рядной, легко, едва заметно переливалось теплое марево с невесомой голубоватой струей. А еще выше набегала шальная туча, и серо-синий столб дождя уже изливался из нее. И вот уже вода мяла потемневшие кусты и деревья, сквозь облака, оперявшие тучу, виден еще был темный, как черная кровь, диск солнца.

В минуту я промок до нитки. В теплом полусумраке что-то гремело, лязгало, скрежетало... Ржавая жирная земля в буграх и шрамах едва слышно гудела, и мне казалось, что сейчас донесется эхо сверху, от тучи. Или я уже слышал его?

Снова темный огонь, как глаз вишневого в скале, — там, где колыхались бронированные тела танков. Сизо-черный дым потянуло к моему орудью, а дождь все бил и хлестал, и глаза устали так, что хотелось их закрыть.

Черные вороха взрытой земли давно улеглись, отгремели залпы гвардейских минометов, но в поле дымили низкие темные факелы, и под двойной пеленой дыма рдели багряные огни.

...Зачем нужны были противнику эти высоты? В апреле сорок пятого?.. Я этого не знал. Знал только, с каким трудом мы их заняли, знал, сколько бойцов полегло у этих голубых холмов. И поэтому мы просто так не могли их отдать. Когда наши батареи выдвинулись сюда, я подумал, что этого будет мало, если

противник захочет вернуть высоты. Но я ничего не знал о реактивных минометах, и даже сейчас, когда я увидел их в деле, я не мог знать, сколько их там вело огонь с далекого холма.

...Земля остывала. Ночью было тихо. Я лежал с открытыми глазами. Было прохладно, свежо, листья касались лица. Упав на траву, пил дождь, оставшийся в листьях манжетки. Разделся, выстирал в ручье форму, выжал досуха и, скорчившись, сидел на сухом пятачке под кряжистым дубком; старые желудевые чашечки кололи ноги, трава казалась теплой... Выплыло из-за окоема солнце. Я старался поймать первые его лучи.

В это солнечное утро меня нашла недобрая, страшная для меня весть. Не стало Сергея Поликарпова.

В НЕМЕЦКОМ ГОРОДЕ

Город молчит. Он точно уснул несколько дней назад, поджидая нас. Ни души. Ровная черная гладь реки впереди. Аккуратный ряд домов с заколоченными окнами лавок в нижних этажах. За рекой, за зеленой спиной крутого берега, — кирха, над ней кружит одинокая черная птица. Улицы — сплошной музей, бесконечная вереница экспонатов с таинственными амбразами погребков — присмотрись получше, друг, не засел ли там некто в сером мундире, с автоматом, гранатами и пистолетом... Точно ли покинули город тени?

Перед площадью — завалы, бревна еще пахнут смолой, желтая кора высохла на солнце, и ловишь себя на мысли: хорошо бы опрокинуться на спину и полежать здесь часок-другой, прямо на теплых стволах. Подходим ближе... Тонкий, нежный рисунок колючей проволоки. Стоп. Необходима осторожность.

Сбоку видны противотанковые ежи. Проходы для нас уже готовы: здесь побывали наши саперы. Мимо города, недружелюбно набравшего в рот воды, точно немой на перепутье! Дальше, к старому парку с ухоженными дорожками, так и не увидевшему боя, пуль, убитых... Зеркало воды уже за спиной. Река тускнеет. Черная птица пропала. На стенах кирхи обозначились резкие тени.

— Присмотрись-ка, там кто-то есть! — Негромкий, спокойный голос фронтового друга, указывающего рукой на вход в кирху.

Точно. Там старик. Сидит на пороге как ни в чем не бывало. Вот снял шляпу, как будто приветствует нас. Ну что ж, старик, найдется и для тебя немного русского табака. А теперь прощай. Мы спешим в Россию, но сначала нам нужно идти в противоположную сторону.

Еще несколько дней вечернего безделья, ожидания, нетерпения... Потом вдруг какой-то синий ранний рассвет, низкие, быстрые, светлые облака, стремительные зеленые машины, промчавшиеся на запад, brave крики, возгласы. На дороге — подтянутая девица в сапогах, серьезная, статная, на гимнастерке ее — три медали (у меня только две), на коротких пышных русых волосах — пилотка набекрень, гимнастерка ладно пригнана к сильному красивому телу... Колонна молодых безусых солдат, загорелых, пухлощеких, во главе с лейтенантом. Семь танков, обошедших их по обочине, на броне — звезды; гусеницы с налипшей серой глиной по-кошачьи мягко утюжат поле, стволы

пушек неслышно покачиваются... И все это, как живая картина, навсегда врезавшаяся в память, плывет, движется на запад.

Мы тоже снимаемся с места, идем целый день, потом еще сутки, стоим у каких-то полуразбитых бетонных строений, серых, безликих. Вдруг ночью — тревога. Тягачи снова тащат орудия, за спиной — редкие огни, в небе — шальной луч прожектора, гул самолетов. Далекие-далекие разрывы...

Опять входим в город. Дивизион остается здесь. Мой расчет должен разместиться на постой в старинном одноэтажном сером особняке на перекрестке улиц.

Я подошел к дому, дернул за шнур колокольчика. Дверь открылась. На пороге стояла женщина. Я услышал ее дыхание — глубокое, спокойное, ровное. Она не боялась меня, вот что было поразительно!

Мы вошли в большую комнату. Здесь я разглядел женщину лучше. Серый шелк волос, светлые большие глаза, блекло-розовые губы, белая кожа шеи, чистый высокий лоб, бледные щеки... При каждом повороте головы жил и струился этот загадочный серый шелк, наполовину укрывая шею и плечо, густые пряди мышинного цвета, таинственно переливающиеся как ртуть, потом — отраженные в огромном зеркале в углу комнаты, в ее собственных глазах, в моих глазах; ритм дыхания, когда видно, как приподнялась грудь, опустилась, снова — но теперь задержалось дыхание; и взгляд, и снова — дыхание, и поворот головы...

Попросил стакан воды. Выпил, поблагодарил. И вдруг заметил, что в ее глазах что-то мелькнуло... какое-то облачко прошлошь по зрачкам. Она медленно протянула руку за стаканом.

Я почувствовал упругость ее пальцев и, как ни загубели мои руки, уловил колючее тепло чужой ладони. Не так уж трудно мне было представить себя на ее месте, когда вокруг все рушится и нельзя понять, что же будет дальше: может быть, действительно придут дикие скифы, и поставят вокруг свои скифские шатры, и будут жарить мясо и разрушать все, что уцелело, как было когда-то... Вряд ли она прислушивалась к голосам мудрецов, видевших происходившее в ином свете. Она была женщиной, принимала многое на веру, а теперь все рухнуло и надо присматриваться к жизни наново. Так я видел ее тогда.

— Расскажите, что происходит сейчас? — спросила она.

— Гитлеру конец! — сказал я. — Будет новая жизнь.

— Какая долгая страшная война, — сказала она.

— О, вы не видели настоящей войны, фрау! — сказал я. — Вы должны представить себе деревни и города, сожженные дотла, виселицы, детей, умирающих от голода... И все равно это будет только часть правды. Потому что есть еще концлагеря.

— Это страшно! — воскликнула она. — Неужели все... правда?

— Иначе я не был бы здесь.

— Да, да, я понимаю. Вы, русские, всегда были далеко, и война где-то очень далеко... пока я не увидела вас.

— Как вас зовут?

— Хильда.

— Валентин.

Она улыбнулась... Это была улыбка Джоконды. Я сказал ей это.

— Вы мне нравитесь, — сказала она.

Скользнув по мне взглядом, она вдруг вышла в соседнюю комнату, а я подошел к зеркалу. На меня смотрели широко расставленные серые глаза, лицо было небритым, обветренным, брови приподняты. Неровная линия губ, широкий лоб, прямой нос — я всматривался в этого человека и пытался его понять... Вошла, она. На ней было теперь темное платье с тяжелыми кружевными оборками, с глубоким вырезом на груди. Шею ее охватывали три нитки вишневых бус. В ней не было ничего от той женщины с близорукими серыми глазами, которая только что предстала передо мной, — ее глаза потемнели от расширившихся зрачков, щеки стали пунцовыми; несколько раз она произнесла мое имя, голос стал резче, рука ее легла на мое плечо.

* * *

На книжных полках темного дерева стояли старые книги. Я раскрыл одну из них, прочел вслух:

— «А теперь пора, о даритель сокровищ, рассказать о Гренделе. Я поведаю, как сошлись мы с ним врукопашную...»

— Если бы все варвары были похожи на тебя, — без улыбки, медленно говорила она, — то история была бы другой и даже Римская империя удержалась бы, устояла, за исключением, может быть, римлянок.

На стене висела картина в массивной раме: женщина облокотилась на желтый, теплый от солнца ствол сосны. Одна рука ее была за спиной, ладонь ее и пальцы, наверное, поглаживали тонкую сухую кору. Платье на ней было с таким вырезом, что матовая кожа светилась на овалах груди, и стоило женщине чуть прогнуться в пояснице, грудь освободилась бы от окаймлявшей ее тонкой узкой полоски лиловых кружев. Из-под короткого кружевного рукава как бы выплывала полная красивая рука с крохотным зонтиком и белыми перчатками.

Верхняя атласная юбка подобрана вокруг бедер и заменяла жакет. Нижняя шелковая юбка была лиловой, пышной, она открывала туфли на высоком каблуке, украшенные увядающими цветами, и темные чулки. Женщина стояла на темно-зеленом замшелом сосновом корне, и одна туфелька была приподнята вверх. Глаза ее слегка прикрыты, голова откинута назад, волосы темные, прическа высокая, но на шею падали густые локоны, свитые в блестящие на солнце и казавшиеся воронеными кольца.

— Это моя бабушка, — сказала Хильда.

— Не похожа... — сказал я.

— Мой дедушка был художник, это он рисовал.

— Давно, наверное, это было?

— Семьдесят какой-то год прошлого века.

— А ты родилась... — начал было я, но умолк.

Она, должно быть, не поняла моего незаконченного вопроса.

— Вот, смотри, это я, — продолжала она, — это мы у озера...

Я увидел фото. Несколько девочек, среди них коротко стриженная гимназистка с немного раскосыми большими глазами. Это она... А там что? Я подошел и увидел на другом снимке ее, Хильду, и мальчика. Мальчик был меньше ее, и она держала его за руку. На фото надпись: 1920 год.

— О, это было трудное время! — сказала Хильда и подошла ко мне.

— Я не знаю, как было у нас, — сказал я, — я родился в двадцать четвертом.

— Тебе двадцать?

— Да. Исполнилось.

— Моему младшему брату было бы двадцать девять.

— Было бы?.. Значит?..

— Ты угадал...

— Когда это произошло?

— Недавно, совсем недавно.

— Он был на восточном фронте?

— О, он не хотел воевать на восточном фронте...

— Но ему пришлось?

— Да.

— Я устал, — вдруг сказал я. — Если бы ты знала, Хильда, как я устал от всего!

— Я знаю, — сказала она.

— Откуда ты можешь знать?

— Я знаю тебя...

— А... — Я усмехнулся и поймал себя на мысли, что пытаюсь кокетничать с ней. — Ничего ты не знаешь! — громко добавил я по-русски. — Ничего!

Она покачала головой.

Откуда-то издалека донесся бой часов. Снова тишина. Косой луч солнца упал на стекло. На полу дрогнул солнечный зайчик. В потоке неяркого света запрыгали пылинки. В большое зеркало было хорошо видно дорогу.

* * *

Когда я уходил от нее, то увидел в углу прихожей фотопортрет. В правильном, безупречном овале угловатое лицо молодого мужчины с заметным кадыком, выпуклым лбом, спокойными, задумчивыми глазами. Я подошел ближе. Лицо казалось знакомым. Я постоял с минуту, размышляя о том, где же я мог видеть его. За спиной раздался голос Хильды:

— Мой брат.

Я хотел ее спросить о чем-то, но передумал. Обошел комнату, вернулся к ней. Ее лицо изменилось, мелькнула мгновенная тень, страха, что ли. Потом — долгое молчание. Я снова узнал ее лицо. Она была не похожа на брата.

Мне не нужно было ни спрашивать, ни догадываться: ее брата не было в живых, я это знал теперь, хотя и не мог объяснить ей, что тогда произошло. Там, у старого железнодорожного полотна, судьба свела нас — меня и ее брата, обер-лейтенанта вермахта... Там, на насыпи, заросшей полыньей, мы схватились с ним врукопашную.

В тот день я потерял Пчелкина и Поливанова... В тот день!

НА БЕРЕГУ ОКИ

Близ немецкого города Фрайенвальде, у перекрестья дорог, мы похоронили майора Ивнева. Дивизион уже готовился к маршу на Берлин, но в тот же день столица рейха пала. Вечером

следующего дня Глеб Николаевич отправился в соседнюю деревню, где остановились его фронтовые друзья. Случайный выстрел оборвал его жизнь.

В дивизион привели немецкого мальчишку лет пятнадцати, который стрелял в майора, укрывшись на чердаке двухэтажного кирпичного дома. Когда я узнал о происшедшем, меня захлестнула горячая волна, руки не слушались меня, я стал точно другим человеком, бросился бежать, увидел этого немчика со спины и хотел задушить его. Но он оглянулся, точно испугавшись меня, невидимого для него человека. Я остановился в растерянности, в недоумении. Мальчишка стоял передо мной и всхлипывал. Я отвернулся, побрел прочь, не помня себя.

Ночью при свете копилки я писал письмо матери Глеба Николаевича. Писал — и рвал исписанные листы в клочки, потому что не мог сказать то, что хотелось сказать о нем. Потом было странно тревожное мирное утро. И пустота. Где-то еще шли бои. Осиротевший наш дивизион оставался у Фрайенвальде, батарейцы, воспитанные Ивневым, оказались как бы не у дел.

Я часто думал о матери Глеба Николаевича. Отчетливо мог представить себе широкую Оку со светлыми песчаными косами, намытыми быстрыми струями, и одинокую старую женщину у берега.

Позже увидел ее, слушал ее скупой рассказ...

Летними вечерами, когда купола деревенской церквушки светились от густого предзакатного багрянца, она спускалась с крыльца на сухую, нагретую солнцем гусиную траву, выходила в провор огородов и шла к реке. Там, где высоко поднималась сосна над песками, она останавливалась, замирала, всматриваясь в дробное сверканье ряби на воде. Матово-смуглое лицо ее казалось вырезанным из дерева, морщинистая кожа спеклась от солнца и ветров, гулявших в тот год над колхозными полями, ботинки ее были стоптаны, и старая дмотканая юбка давно потеряла свой цвет от стирки и дождей.

Она поправляла побелевший от солнца платок, когда-то подаренный сыном, и снова всматривалась в речной простор. Никто бы не приметил эту женщину в час, когда сгущаются синие тени у подошвы берегового холма и в неподвижном молчании скорбно-величаво движутся потемневшие воды Оки. У ног женщины, на пустом берегу, на широких лугах за Окой, на жемчужных далеких полях меркли огни заката. И кружила над ее головой черная птица, запоздало высматривая добычу.

От противоположного берега отходила едва приметно лодка с гробцом и двумя-тремя деревенскими бабами, возвращавшимися из города. В широком, расходящемся следе от лодки серебристо ходила вода, уже слышалось поскрипывание уключин, и, одолев течение, лодка косо подходила к деревянному мостку на этом берегу, а женщина в платке все стояла, и лицо ее было неподвижно. Только когда немногословные бабы выходили на берег, она поворачивалась и шла домой. В избе, сев на лавку, не зажигая лампы, она иногда что-то шептала. Но понять можно было только одно слово: «Глебушка!» И ей казалось, что он еще вернется, вопреки похоронке, которую принес ей в мае однорукий почтальон-односельчанин.

Тот же почтальон в утешение ей рассказал, что давно уже все

считали погибшим его свояка Данилу Дементьева из соседней деревни. Да вот, поди ж ты, вернулся недавно, жив и здоров. Нескончаемы летние светлые вечера над широкой красицей Окой. За ними приходят чередой по-южному темные звездные ночи, и над одинокой колокольной мечутся в темень кожаны, и поют редкие сверчки шемящие песни.

И она ходила все лето на деревенский перевоз, не веря, но надеясь. Встречала каждую лодку, стояла у высокой сосны, чувствуя, как дерево отдает ей тепло, запасенное за день. Молчаливы были эти вечера, она теперь таила от всех свою надежду, и только дома слышалось порой: «Глебушка!»

Поджидала она сына и осенью, месила стоптанными ботинками грязь и намокшую солому, упавшую в придорожье с возов, поправляла платок, словно впрямь готовилась увидеть долгожданного Глебушку. Ненастными темными вечерами долго не зажигала света в пустынной избе, подперев голову кулаком, вспоминала о муже, погибшем в гражданскую, о сыне, покинувшем ее в Отечественную.

* * *

Я виделся с ней. Это было уже в сорок шестом. Бывшая моя однокурсница с биофака Татьяна и мать ее Надежда Кирилловна, те самые две женщины, к которым я заезжал в сорок третьем по дороге на фронт, дали мне знать, что в Каширу идет машина. Брат Надежды Кирилловны, шофер, подскочил на своем выдавшем виды грузовике прямо к моему тридцатому дому по улице Школьной, усадил меня в кабину рядом с собой, и через три часа я был в Кашире. Оттуда до родной деревни Глеба Николаевича рукой подать. Обратно же я добирался на поезде. Вечером был в Москве. От Павелецкого вокзала шел пешком. Было воскресенье. Надежда Кирилловна и Татьяна были, наверное, дома. Я завернул к ним, на Крестьянскую заставу. Они угощали меня брагой и картофельными блинами. Вспомнили профессора биофака Формозова. Потом они слушали меня, и я вдруг понял, что не надо было рассказывать им о Глебе Николаевиче, его матери, о боях и танковых атаках. Надежда Кирилловна наклонила голову так низко, что лицо ее оказалось в тени и свет от настольной лампы выхватывал из тени только ее руки с темными узкими венами, с ореховой загорелой кожей. Муж ее погиб под Киевом. Она вышла на кухню и вернулась с заплаканным лицом. Тут я и осознал свою оплошность. То, что видели и пережили эти женщины, осталось с ними. И этого хватило бы на десятерых. Я умолк. Попрошлся.

Медленно шел к Рогожской заставе. Слева от меня тянулась линия знакомых двухэтажных домов. Во многих дворах шумят высокие тополя, вязы и акации. Но с улицы не видно деревьев, не видно волшебного пространства дворов, наполненных детскими голосами. Солнце алым огнем горело над самыми крышами, и красный кирпич домов отражал небесный густеющий багрянец. Я думал о первой встрече с матерью Глеба Николаевича. Позже я понял, что мне хотя бы иногда надо бывать у нее...

Широкий Рогожский вал встречал меня по-свойски — цоканьем копыт по мощеной мостовой, неутихающим говором рынка, свистками постовых. А вот и Рогожская застава...

РОГОЖСКИЙ ГАРМОНИСТ

Самим видом своим гармонист дарит надежду любому. Подходи — и получай сполна! Звучание его гармонии весело, беззаботно, хоть сейчас ее владелец пустился бы в пляс, были бы ноги. Потому и легко так прочитать в глазах его ответ на любой вопрос. Но для этого нужно остановиться ненадолго, прислушаться к игре, присмотреться к рогожскому безногому гармонисту. Подойди — и утешься. Можно бросить в кепку полтинник — и ученая морская свинка вытащит из ящичка бумажку-билетик с судьбой, где чаще всего написано: «Счастье». Играй, гармонист...

Гармонь черномехая, что поведает сердцу, расскажешь ли о минувшей войне, ее запахе, пожарах, о деревьях, скошенных как трава? О неурочном крике болотных птиц, о синих предрассветных туманах, что прятали нас среди голых полей, о темных осенних ночах, что укрывали от пуль? Пока не забыто, говори, трехрядная, о кожаных, парящих над высокими обезлюдевшими берегами текущих рек, о циркунах-кузнечиках, зазывно выстукивающих мелодию жизни на стреляных медных гильзах, на броне, из которой ушли огонь и сила, на блеклых обожженных вербах... Играй, гармонист! Расскажи о желтых сыпучих песках, вынутых разрывами из нутра земли, из тайных глубин, — чтобы дождем обрушиться на кусты голубоватой сирени в палисаде, на цветы-смоляночки, где хаживал повада-милый, а ныне торчат темные корчаги да пробитые каски.

Играй, гармошка-верескуха... Руки гармониста сильны, и быстры его пальцы, пьяны русобровые очи, горька доля, как горсть желтой рябины, оттого ломки, переливчаты, хрупки звуки.

Звени, черномехая!..

Рогожский гармонист... Обрубки вместо ног, на голой груди телогрейка, глаза зеленые, с искрами... На углу, рядом с лавками, где продают веники, щетки, мочалки, деревянную утварь, пучки сушеной зелени, я увидел его в августе сорок пятого. Он сидел на земле, рядом с ним белели окурки, бумажки, которые бросали прохожие.

Рогожский гармонист... На груди твоей татуировка, взгляд твой даже весел, в нем я замечаю иногда бешенство, злобу, грусть, но никогда — отчаяние... Пальцы твои бегают по серебряным планкам дедовской гармонии. На обрубках ног — кепка, куда, звеня, стекает медь. Звенит гармонь, взгляд гармониста весел, непроницаем...

•
Что нам горе, жизни море
Надо вычерпать до дна.
Сердце, тише; выше, выше
Кубки старого вина!

Что о нем можно узнать, об этом безногом гармонисте? Вспомним про теорию вероятностей, эту изумительную науку,

дающую ответы даже тогда, когда молчит человек. Итак, его имя... Вероятнее всего, Иван. Теперь фамилия... Это посложнее, но, положим, Сапожников. Почему? Да потому, что не такие уж далекие его предки могли некогда тачать сапоги. Значит, Сапожников. Скорее всего родился Иван Сапожников в двадцать четвертом. Почему?.. Да потому, что в сорок третьем ему вполне могло быть девятнадцать лет. Теория вероятностей это не исключает, даже наоборот... Именно в середине двадцатых годов рождалось больше мальчиков, чем девочек.

Вероятнее всего, жил он в первые годы в деревне и пареньком учился играть на гармошке, не предполагая, конечно, что когда-нибудь виртуозной своей игрой сможет зарабатывать и кусок хлеба, и стакан водки. Разумеется, работал он в хозяйстве с тракторами, но косить рожь приходилось и косой. Были у него, наверное, и младший брат, и мать, которые тоже работали с ним. Таким образом, судьба его типична вплоть до того момента, когда на фронте ему оторвало ноги разрывом немецкой гранаты с длинной деревянной ручкой.

...Когда подросток брат, Иван подался в город, работал в горячем цехе, здесь, быть может, и застала его война. Через месяц-два ушел он добровольцем на фронт, после госпиталя вернулся в город, не нашедши ни матери, ни брата, ни дома. Дом сгорел — об этом рассказали односельчане, — мать похоронили в сорок втором. Брат ушел и не вернулся.

Здесь, на Рогожском рынке, началась новая жизнь Ивана Сапожникова: живет он в сарайчике, где сторожиха Анисья хранит ведра, лопаты, кирку, старый самовар, метлы; в углу — охапка соломы, здесь хорошо подремать дождливым днем. Рано поутру, наступив деревяшкой на камень, соскочив с него на асфальт, гармонист спешит на свое место. И снова звенит-рассказывает гармонь.

Чем-то близок мне гармонист. И я мог быть таким, но я не умею играть на гармонии. Я читал бы «Двенадцать» и «Скифы» любимого поэта.

* * *

Семилетний мальчик закинул леску с рыболовным крючком в ворох яблок на деревянном столе, потянул на себя — два яблока скатились со стола, одно досталось мальчишке.

— Ах ты паршивец! — Толстая старушка, бросив очередь, кинулась за ним.

В руке его блеснуло лезвие. Он зажал его между пальцев. Спиной, боком он отступил, потом юркнул за угол, и след его простыл.

— Смотри какой! — восклицает женщина.

Глаза гармониста пристально смотрели куда-то мимо, дальше меня...

— Ишь наяривает, — добродушно сказала толстая старушка.

Я подошел. Он посмотрел на меня. В ту же минуту глаза его опять увидели даль, скрытую от других. Я дождался, пока кончится его песня. Спросил:

— Откуда, фронтовик?

— Смоленск, Вязьма, — коротко ответил гармонист.

— Подожди, я мигном...

Я побежал за угол, где за девять рублей без сдачи тетка в цветастом платке протянула мне холодную четвертинку. Я побежал назад. Выпросил стакан у человека, которого я сначала принял по одежде за нищего, и сунул было ему двугривенный. Подошел к гармонисту, налил стакан, протянул ему. Он не спешил его принять. Сдвинув фуражку на затылок, он задиристо посмотрел на меня, взял стакан и долго держал его в руке, потом махнул:

— Спасибочко!

РЕКА ПАМЯТИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Во сне — монотонный голос партизана Василия Макеева:

— То лето было у нас очень жаркое. Зной такой, что не приведи господь. Поднимаешься на мост, что перекинут через железную дорогу, и отдыхать пора. Так-то, брат. Ну вот, однажды я стою на мосту, смотрю, поезд идет. Товарный поезд. В полувагонах, в конце состава, лежат внавалку красноармейцы. Пленные, значит. Замедлил ход поезд, смотрю я на пленных и вроде бы не признаю их за наших людей: до того их неволя довела. Гимнастерки изодраны, некоторые перевязаны ссохшимися, потемневшими от крови и грязи бинтами. Они даже не шевелились, видно, не было сил. Рядом со мной, смотрю, стоит такая сердобольная старушка и все приговаривает: «До чего же довели вас, касатики! Матери-то, чай, о вас и не знают, о касатиках». Я вынул из кармана кисет и кинул пленным; смотрю, старушка развернула кусок сала, подает мне и говорит: «Кинь-ка, у тебя рука покрепче». Кинул я, и тут же конвоир дал очередь, старушку — наповал...

Он умолкает.

Лицо капитана Ивнева в профиль, впалые щеки, чуть покатым лоб с ранними морщинами, его голос:

— Во всем, что произошло: в поражениях сорок первого, в том, что война должна была продлиться четыре года без малого и вызвать убийство миллионов людей, — во всем этом следует искать свои причины...

Бабка трясет меня за плечо:

— Пора на занятия, студент!.. Студе-ент!

Я вскакиваю, умываюсь на кухне над раковиной, шлепаю по деревянным половицам босыми ногами, глотаю хлеб и чай, выбегаю на улицу и вижу ее. Наденьку. Из моего детства.

Она идет по другой стороне Школьной улицы, мимо ателье, дальше, дальше, к Рогожскому валу. Я не верю своим глазам: она? Кажется, да... Такая же стройная, волосы каштановые, голова не покрыта, на ней старое темное пальто, воротничок полуподнят. О Река памяти!

Надя...

Я иду за ней, невидимый, неузнанный; она обходит осеннюю черную лужу у подворотни тридцать седьмого дома. И я не решаюсь остановить ее... Где-то во мне живет сомнение: она ли? Я вижу ее, удаляющуюся, как сквозь полуматовое стекло: она

все дальше от меня... И вот затерялась среди прохожих. Быстрые, мимолетные, тревожащие меня воспоминания.

Что ей здесь делать?.. И быстрый ответ самому себе: она спешила на поезд, она уехала к себе в Войново, где река, и простор, и сосновый бор на загравке холма.

Что со мной приключилось? Какой-то приступ, пронзительно-щемящая боль — и резкие, яркие отсветы прошлого, точно огонь. Щеки мои порозовели; вокруг все утихло: не слышно машин, голосов, шагов. Останавливаюсь, точно хочу прислушаться к себе. Держусь за ствол тополя. Холодная гладкая кора, ладони остыли. О Река памяти!

...И весь вечер потом и всю ночь проступало какое-то дрожащее марево: то были воспоминания о снах и сны, похоже на воспоминания. И виделась туманно-желтая излука реки со следами босых ног на песке, темно-золотые пряди Наденькиных волос, обворожительно сияющие глаза. Слышалось одно и то же: голос ее, плеск мягкой волны, песня летнего ветра.

ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ. ДВОЕ

За стеклом вагона проплывали зеленые и коричневые дома с облупившимися фасадами, белыми наличниками, покосившимися заборами, черными яблонями и вишнями в палисадах перед окнами. Серые накрепившиеся столбы уныло окаймляли скучные улицы, по которым шли, огибая рытвины, редкие прохожие, чаще всего бабы в мужских ватниках или тонконогие девочки в подшитых валенках. Поперек дороги поднимались деревянные мосты с перильцами, с окованными полосовой сталью ступеньками; за мостами уходили в лесную черную даль неровные рельсы с их вечным гудом и лязгом чугунных буферов, с бегущими вагонами-теплушками, полусгнившими шпалами, едким запахом угольной пыли и сгоревшей серы, разогретой стали и мазута, с полурастаявшим снегом на откосах.

Старые, допотопные сараи из красного кирпича, склады и фабрики с черными от копоти стеклами, с оконными пролетами, забитыми посеревшей от дождей и невзгод фанерой, выкрашенное темно-желтой краской зданье с надписью: «Кипяток»,

Потом слова...

Там вдали отголубела осень,
и, над деревней сделав круг, она
умчалась в облака. О тропы
родины, горьки красоты ваши,
словно плачи. Песчаные
извилистые тропы,
отполированные башмаками лет.
Годами увязая в буреломных зимах,
мы прислонялись
к жестким камням тьмы
и вслушивались в свет,
поющий над кострами,
высматривали жадно острова,
танцующие в южном море...

Стучат, стучат колеса, несут меня... Зачем, куда? Болезненная моя выдумка обернулась ненужной выходкой.

Как опасна эта невидимая, неосязаемая грань! Разве я не перешагнул через нее?.. Что будет, если я опоздал, и она отвернется от меня, ведь я того заслуживал. Заслуживал! Где истоки этой странной силы, которая ведет меня за собой и останавливает как будто случайно на краю пропасти? Словно тут, на самом краю, я должен вдруг найти несуществующие, не выдуманные еще никем волшебные слова...

...Если смотреть вправо, видишь снег, поля, лес с заснеженными верхушками елей, снова снега впереди, до самой, наверное, моей станции. Простая мысль вдруг пришла в голову. Мой путь на эту станцию начинался давным-давно, еще в партизанском лагере, когда мне снились Наденька, полузабытая деревня, бабушка, белые камни у крыльца, от которых было холодно босым ногам утром и тепло вечером.

Сейчас моя дорога лишь продолжалась. Война прервала ее.

Снеговое раздолье скрадывало то ушедшее навсегда время тревог, смутных надежд и неизвестности перед завтрашним днем. Будто бы все начиналось снова, с той самой точки, на которой жизнь остановилась перед отправкой на фронт. И начиналось наконец по-настоящему. Не будет теперь полосы странной отчужденности, в которой я не был повинен. Слепяще светили снега, горько и свежо пахло мерзлым хворостом, ветер доносил из лесов, окаймлявших дорогу, свежесть хвои и черно-сизых холодных осинников.

Да, я никак не мог еще приспособиться к начинавшейся жизни. Я был еще там, в артиллерийском дивизионе, в зимнем лесу у партизан, в госпитале, хотя, похоже, это становилось сном, неправдой. А жизнь шла, шла...

* * *

...Комната, где жила Наденька с матерью, была просторной, темной, с запыленными настенными тарелками, белыми слониками на буфете, темным огромным шкафом с матовыми стеклами. Я остановился посредине комнаты и не мог выбрать стул, на который мне надлежало сесть. Дородная женщина, ее мать, кивнула, и я сел в кресло, стоявшее в углу. Напротив красовалось стадо мраморных слонов, многие из коих были лишены хоботов, ушей и ступней по причине падения на пол. Я стал размышлять, что привело их к этому плачевному состоянию: случайные падения с буфета или битье посуды, имевшее место в незапамятные времена, когда хозяйка была моложе и жила с мужем... Пока она разливала чай, эта мысль все вертелась и вертелась в моей голове, и кажется, она угадала ее. Но я постарался сменить направление моих размышлений. Я владел уже этим секретом: от темы можно уйти, лишь отталкиваясь от нее, как отталкивается ребенок от стены, когда учится ходить. Стало быть, думал я, прежде всего надлежит понять, можно ли делать слоников так, чтобы они не бились и не калечились при падениях, а отсюда уже рукой подать до нового умственного ответвления в рассуждениях. Но решение задачи получалось слишком экзотичным:

фигурки должны быть равнопрочными, и потому хобот, и ноги, и уши непременно надо было делать одинаковой толщины с туловищем. Что же получится? Что-то вроде осьминога, но с некрасивыми, неуклюжими щупальцами, и фигурку такую на буфет не поставишь. Зато уж если она упадет, то не разобьется... Колдовство какое-то! Мне не удавалось оторваться от темы слоников, как я ни хитрил. Но вот женщина заговорила, и все получилось как-то само собой, но плохо.

— У Нади муж на фронте погиб... Ты разве не знал?

«Муж... погиб». О нет, я ничего не знал.

И отец ее тоже не вернулся, но они еще верили, что он придет...

Появилась Наденька. Сухо поздоровалась. На минуту мы остались одни. Не глядя на меня, она сказала, чтобы я подождал ее на улице.

* * *

...Я ждал ее. Это была попытка найти начало нового пути, но в голове моей все перемешалось, и пальцы мои подрагивали, нетерпение заставляло меня переминаться с ноги на ногу. Недоброе, жестокое нетерпение. Я уже не верил, что она выйдет, и мысленно ругал ее за обман. Но она вышла... И была печальная, задумчивая, словно ей передавались мои странные, недобрые, нетерпеливые мысли.

Я стоял за полуприкрытой дверью сарая и ждал ее... Женщина в телогрейке прошла по улице мимо и оглянулась — я смотрел ей прямо в глаза. Она перекрестилась и, семеня ногами, обутыми в старые валенки, ушла так проворно, что я минуту спустя подумал, что все мне показалось. Потом наконец подошла Надя, высокая, круглолицая, в стареньком полушалке, коротком пальто... Когда она поравнялась со мной, я втолкнул ее в сарай, закрыл дверь и обнял. Она молчала и дышала мне в щеку... Потом я видел ее испуганные глаза, она сжала губы, и рука ее свесилась с дровяной кладки. Туман застал мне глаза... Черный или, может быть, светлый день входил в мою жизнь.

Она что-то говорила. Я старался вслушиваться. Голос был мягок, и слова необидны, но оттого они сильнее действовали. Мне стало стыдно. С какой-то неподражаемой интонацией она назвала вещи своими именами и повторила эти странно звучащие в ее устах слова, и они словно падали рядом с нами, на земляной пол, на ее серенький полушалок, точно неоперившиеся птенцы, вывалившиеся из гнезда. Простая эта женщина видела пять лет только горе, а теперь вот я мучил и терзал ее. Наверное, я был еще очень молод.

— Ты хоть вспоминал обо мне? Помнил? Нет! Не помнил ты меня!

— Я помнил... помнил, — ответил я ей, потому что действительно не мог ее забыть, хотя, конечно, долго не понимал, какой далекий путь надо было пройти до нее: нескончаемые партизанские тропы, взрытые поля, холодные обочины, окровавленные шинели и все остальное... И смерть, и страх, и надежда.

— Когда ты обо мне помнил? — тихо спрашивала Наденька. — Когда это ты обо мне вспоминал?

Когда я о ней вспоминал? С какого дня она мне запомнилась? Я думал об этом, но это был тот случай, когда память моя отказывалась давать точный ответ. Знала бы она, сколько я держал в своей голове! Наденька мимолетно проходила через мои сны: улыбка, смех, быстрый, почти неуловимый взгляд — и становится тепло вдруг. И опять она исчезает, растворяется... Или это я хотел уберечь мечту от бомбежек и выстрелов? Когда я ее вспоминал? На привалах, может быть? На огневой?

Поднимаясь ввысь, опускаясь, падая в сумеречные глубины, память моя описала невообразимый круг, и я видел, как прерывалась иногда ее нить, но жизнь брала свое, и я будто бы снова шел по этому кругу, чистый и юный. И снова падал. И вставал, чтобы идти дальше.

Луч света пробился сквозь щель между серыми досками, засиял на поленище дров. В темени вокруг меня ничего не стало видно, кроме голубого луча и ее лица. Беспощадно-резкий свет... Глазам было больно, но странная сила заставляла с трепетом всматриваться в предзакатный огонь за дощатой стеной, в алое пятно поздней рябиновой грозди. Широкий этот луч полоснул по мне как лезвие, и я закрыл глаза. Слышалось и виделось прошлое.

Ее появление в памяти моей было всегда незаметным, ненавязчивым, точно полет тихой лесной птицы горлинки. Но я успевал видеть ее светлое лицо, чистый святорусский лоб, улыбку, губы, шею. С какого же дня я помнил ее такой? Я молчал, стоя на коленях... И думал, как же я могу ответить ей и себе.

Не с того ли дня, когда мы шли вместе, и было такое красное, большое, закатное солнце, и я увидел, что у нее золотисто-каштановые волосы и светлые глаза? Сейчас ее глаза так же спокойны, как тогда. Словно она поняла и, поняв, простила меня.

Когда же я вспоминал о ней? И я ответил ей, и знал, что не лгу:

— Всегда.

Рисунки Ю. МАКАРОВА



ВРЕМЯ СМЕНЯЮЩИХСЯ ЛИЦ



Фантастический рассказ

Прежде осмотр себя перед зеркалом то повергал в уныние, то давал утешение, но теперь самый-самый тщательный и придирчивый исключал всякую надежду. Не лицо, какая-то надутая клякса! Из зеркальной глубины на Лену с отвращением смотрели неопределенные, то ли серые, то ли голубоватые глаза, а маленький нос и детски припухлые щеки густо усеивала рябь веснушек, словно в лицо брызнули грязью, которая так ржавыми пятнышками и засохла. У-у!.. Хороши были, пожалуй, только шелковистые, плотным племиком облегающие лоб волосы. Но этим как раз и утешают дурнушек — что у них красивые волосы. Или глаза.

При мысли о глазах изображение в зеркале притуманилось от набухших слез. Ну почему, почему у нее такие никакие глаза?! И в придачу веснушки...

Сморгнув слезы, Лена попыталась начать все сначала. Улыбнулась сама себе, но добродушно заиграла только детская на щеке ямочка, отчего улыбка и вовсе получилась идиотской. Нет, лучше строгость. Лена свела губы в ниточку. Глаза из зеркала посмотрели недоверчиво и зло. Лена задержала это выражение. Так лучше, конечно, особенно губы. Может, девочки и врут, а может, и правда, будто целованных от нецелованных можно отличить по губам. Сейчас никто не скажет, что ее ждет первое свидание, надо только еще надменней откинуть голову, придать себе равнодушный вид...

Да это же просто гримаса! Вымученное, в грязи веснушек лицо... Лена едва нехватила кулачком по стеклу. Нет, нет, нет! Как ни сжимай губы, как ни строй лицо, прет веснушчатое, девчоночье, пухлое. У, в кого только уродилась такая!

Теперь на нее смотрело обмякшее, растерянное, жалобное лицо. Просто жалкое. И в носу щекочет, только этого не хватало — захлюпать. А, пусть... Дура, прилетела вчера как на крыльях. Встретила: Миша, Мишка, Мишуня, имя-то какое ласковое, уютное, теплое... И сам родной. Не верила в любовь с первого взгляда, а вот... И он, кажется, тоже. Ой, мамочки, как все глупо! Чему обязана счастьем? Да вечер же был, сумрак, лица толком не разглядеть, случайно столкнулись, слово за слово, допоздна проговорили запоем, а как-то будет теперь, при свете дня?

Дурнушка...

Дальше оставаться наедине с собой было невозможно. Лена вылетела на улицу и пла, ничего не видя от слез. Опомнилась, когда на переходе от нее шарахнулось пустое такси. Услужливая, с мгновенной реакцией кибермашины, вильнув, на всякий случай тут же распахнула дверцу — мол, к вашим услугам, не угодно ли? Лену обдал запоздалый холодок испуга, она кинулась к тротуару.

Тенисто, пусто. Зачем и куда идти? Все без разницы. Былую Лену широкие и удобные плитки тротуара позвали бы попрыгать на одной ноге или что-нибудь нарисовать мелком. Точка, точка, запятая, вот и рожица кривая... Ой! Все, теперь взрослая, вот она, светлая юность, живи и радуйся...

Ноги несли сами собой. Куда? Никуда. Вдруг в зыбкой прорези листвы мелькнула вывеска. Та самая. Ноги приросли к плитняку. Нет!.. Да. Глухо тукнуло сердце. Она же не хотела, даже в мыслях такого не было! Хотела, коли пришла. Остался последний шаг.

Биопарикмахерская.

Вот оно, осуществимое право на... Золотом по лазури: «Биопарикмахерская». Все просто и буднично. Даром что последнее достижение прикладной науки, обычная вывеска, стеклянная дверь — заходи. Новинка, от которой пугливо, стыдно и сладко познабливает внутри. Еще недавние ожесточенные споры, всеобщий девичий переполох, робкое: «Но пользуются же косметикой, салонами красоты...» И презрительное в ответ: «Сравнила помаду с протезом! У кого свое есть, тот не побежит шариком, как некоторые...» — «Ага! — врзается ехидный мальчишеский голос. — Смятение в стане надменных красоток, их грозят затмить синтетички!»

Обожгло это слово: «синтетички». Так и засело, хотя уже многие, хотя уже мода... Кругом слышишь, надо быть современной! И что тут особенного? Ведь равенство же, простая, наконец, справедливость... Не только женщины — мужчины пользуются, лишь голопузая мелюзга еще дразнит друг друга: «Тячка-птичка, синтетичка, наша новая жиличка, глазки из алмаза, вся из плексигласа!»

Кроткий вздох матери: «Не в красоте счастье...» Ей легко говорить, уже старенькая...

Взять и переступить. Ноги не идут...

Из дверей в облачке ароматных духов выплыла женщина с лицом повелительницы богинь и такой сияющей улыбкой, что Лена ослепленно зажмурилась. Мимо торжествующе простучали каблучки. Затихли вдали. Втянув голову, Лена нырнула в дверь.

Здесь было сумрачно после улицы, и Лена с размаха едва не налетела на кадку с фикусом. Все плыло перед глазами, обморочную мглу очеркивали какие-то разноцветные огни, в ней колыхались смутные силуэты, и звуки тоже сливались в размытый гул.

— Сюда, сюда, деточка, — наконец дошел мягкий женский голос. — В мою кабину, пожалуйста...

Лена ухватилась за него, как за канат. Туман в глазах рассеялся, но, когда это произошло, она уже сидела в кресле перед зашторенным черной материей зеркалом, а сзади хлопотала мастерица.

— Это зачем... черное? — не слыша себя, тупо спросила Лена.

— Зеркало-то? Закрываем его до конца преобразования, а как же! Пока пирог не готов, ты же не подашь его гостям... Умница, что зашла, в человеке все должно быть прекрасно. Не так ли? Головку сюда, немного левее.

Что-то щекотнуло затылок. Одновременно темя обхватил гибкий обруч, и, хотя прикосновение было мягким, даже как будто нерешительным, Лена почувствовала, что кресло прочно завладело ее головой.

— Пойдите, я же еще ничего не сказала!..

— А зачем говорить, говорить не надо, все скажут приборы. — Лена видела только пухлые, быстро мелькающие руки мастерицы и слышала ее уютный голос. — Вот, генограмма готова, теперь твое слово да наш совет, как лучше сделать.

— Может...

— Сейчас, сейчас покажу все фенотипические варианты! Если какая модель понравится, можешь, конечно, взять и готовую, но не советую, не советую, тут, учти, индивидуальная нужна подгонка, вкус то есть, мы здесь как раз для этого, иначе чего проще: зашел в автомат, нажал кнопки, чик-чик — и красуешься! Мило, да фальшиво... Не-ет, дорогая, к генограммам да феновариантам искусство нужно, глаз женский, наметанный, понимающий. Верно?

Научные термины мастерица произносила с особым удовольствием, как бы смакуя их звучный и величественный смысл. Но Лена почти ничего не слышала, ибо к ее коленям откуда-то сбоку скользнул экран, и то, что в объеме, движении и цвете там возникало, все эти сменяющие друг друга, такие разные и, однако, неуловимо схожие лица были замечательными, но совершенно, совершенно чужими!

— Как, все это... мое? — пролепетала Лена. — Мне?

— Конечно, деточка, конечно! У тебя изумительно пластичный фенотип, просто прелесть. Заглядение выйдет, век будешь благодарить... Ну, что мы выберем?

— Но это же не я! — воскликнула Лена. — Не мое лицо!

— Ах, девочка, если бы ты знала, сколько так говорят! И все ошибаются. Ведь человек сам себя никогда по-настоя-

щему не видит. Смотрелась в зеркало, да? Ну и глупышка. Перед зеркалом нет лица, есть выражение.

— Да, но...

— И что видишь теперь — тоже не лицо, а модель, образец, заготовка. Все, все сделаем, твое будет лицо, только эстетизированное. Эстетизированное, понимаешь?

Лена кивнула и вдруг расплакалась, потерянно и беззвучно, как покинутый в горе ребенок.

Мастерица сокрушенно вздохнула.

— Ну вот... Ничего, доченька, поплачь, жизнь без слез что лето без дождика... Тоже, помню, в молодости горевала, как косу резала, слезу пустила, дуреха. Нет, детонька, хочешь быть красивой, будь модной. Ты мне, старой, поверь: отсюда не в слезах уходят, а в радости.

— Ах, вы не понимаете...

— И-и, милая, женщине ли не понять женщину! И хочется, и колется, и мама не велит. Так? Так. А почему не велит? У самой дочка, знаю. Рожала как-никак, воспитывала, мое до последней родинки дите. И чтобы оно... Вот мы какие, мамыши. Еще подружки ревнивые. Ну ясно, и самой в первый раз страшновато. А как же, всяк себя бережет... Ничего, всё образуется, перемелется — мука будет. Я тебе что скажу...

Проворным движением надушенного платочка она промокнула чужие слезы.

— ...Я тебе вот что скажу. Дело в том, доченька, что мы, женщины, всегда мечтали об этом. Ну да... Прически, косметика, платья, обновки, соображаешь? Мы же не елки, чтобы всегда одним цветом... Мы женщины, нам нравиться надо. А природа, она же дура, ей все равно, какой ты уродилась. И вот наконец к нашим услугам наука, эстетика, биопарикмахерская, а мы... Хуже нашего только мальчишки родеют.

— Как, неужели...

— Чистая правда! Один даже... Умора! Ну, не буду рассказывать, о клиентах, сама понимаешь, ни-ни. А ты молодец, уже и глазки распогодились... Так на чем остановимся?

— Ой, мне только чуть-чуть, самую малость! Ну там, на ваш вкус, немного подправить...

— Верно, милая, верно. Личико у тебя и так славное, много не надо, здесь тронуть, там подбавить... Уж я сделаю, глаз у меня такой. Ведь главное в нашем деле что? Наука, скажешь. Оно, конечно, только в каждом случае еще изюминку надо найти. Такую, чтобы красота заиграла. Без этого, будь ты трижды ученая, фук выйдет, модная картинка получится, а не женщина. Курсы эти, генетика там, эстетика, премудрость всякая, а как до дела дошло, сразу поняли, что к чему, и нас, дур, ценить стали. На нашем искусстве все и держится. Так-то!

Говоря все это, мастерица не прерывала работу, ее руки сновали, она что-то двигала за спиной Лены, что-то включала и выключала. Экран потух. Тихонько зажужжали какие-то сервомеханизмы, кресло плавно откинулось, в глаза ударил яркий свет лампы, но тут же сверху напыла громада серебристого колпака, чмокнули, коснувшись лба, присоски, прикрывая лицо, выдвинулся щиток, на вид прозрачный, как заб-

рало космического шлема, однако все вокруг сразу притушилось, и теперь, полулежа, Лена различала лишь смутную белизну потолка. Затем в это туманное пространство вдвинулось неясное женское лицо, проворные пальцы укрепили на шее холодящие кожу контакты, зажимами прихватили мочки ушей, зачем-то огладили подбородок. Лене охватила мелкая притивная дрожь, которую она силилась и не могла унять.

— Сейчас в моде египетский разрез глаз, — задумчиво проговорила мастерица. Ее расплывчатое лицо колыбалось перед щитком, как белесая медуза. — Ты как? Генотипу не противоречит.

— Нет! — Лена едва не рванулась.

— Спокойно, спокойно. — На плечо легла мягкая рука. — Моя обязанность предложить, сама понимаешь, мода... не надо, так не надо. Сейчас, сейчас подумаем, вчерне композиция уже готова... Губы почетче, верно? Строже. Глаза подсиним, сделаем весенними...

— Да, да! А веснушки?

— Сгармонизируем.

— А их нельзя... совсем?

— Можно, дело совсем пустяковое. Стоит ли?

— Да. Да!

— А может, просто притушить, поубавить? Оно ясно, твоя воля и замыслу не противоречит, только в них есть своя пикантность. Давай сделаем лишний эскиз, ты посмотришь, сравнишь...

«Само собой!» — чуть не сказала Лена, как вдруг вспомнила о времени и похолодела. Который час?! Что, если уже... Сердце ухнуло. Щиток оставлял внизу узкую прорезь света, и Лена, рванув руку, в панике метнула взгляд на часы.

— Нет, нет, пожалуйста, поскорей!

— Как, совсем без примерки? Правила...

— Тогда совсем не надо! Пустите!

— Ну, что ты, что ты, разве я не понимаю... Ждет, да? Мигом сделаю. Сама была молоденькой, тут лови!

Кажется, мастерица подмигнула. Ее лицо исчезло. Опять какое-то перещелкивание, слабый, как от перебиваемых инструментов, лязг, низкое гудение тока. Лена, напрягшись, молвила всю эту технику поспешить.

Что-то, будто муравей прополз, щекотнуло шею.

— Будет больно, скажи...

Словно тысячи крохотных иголок разом кольнули щеки, нос, губы, лоб, проникли вглубь, дошли до сердца, впились в мозг.

— Больно...

— Потому что быстро. Терпи, красота требует жертв.

Все же мастерица, видимо, что-то сделала, так как болезненное покалывание расплылось теплом. Оно делалось все горячее и горячее, точно под кожу затекал расплавленный парафин. В этой жаркой маске Лена было перестала ощущать лицо, затем внезапно почувствовала, как оно потекло. Хотелось крикнуть, напрячь мышцы, но губы не повиновались. Они текли. И щеки тоже текли, все плавилось, глаза щипал багровый туман, тело казалось бесчувственным придатком оплывающего лица, сердце стучало в какой-то оглохшей пустоте,

и там же жалобно бился безмолвный крик: «Мамочки, мамочки, мамочки...»

Минута, час, вечность? Внезапно все кончилось. Лицо ощутило живительный ветерок. Изнутри его еще кололо и жгло, но мускулы уже повиновались, кожа осязала прохладу, в глазах исчез едкий туман, только справа отчего-то ныли два или три зуба.

— Все, деточка, моментом управились... Он будет доволен.

Щиток отплыл вверх, спинка кресла подалась вперед, держатели разомкнулись, проворные пальцы сдернули контакты, Лена, не веря себе, ощутила свободу.

— Сейчас, сейчас... Зажмурься.

По лицу сверху вниз скользнула влажная салфетка. Брызнуло облачко духов, лицо снова придавила салфетка, так повторилось дважды, причем запах всякий раз был иным.

— Готово.

Порывистым дрожащим движением Лена ощупала нос, губы, щеки, сомневаясь и убеждаясь, что это они.

— Да ты лучше в зеркало глянь...

Шторки с шорохом разошлись. Лена так резко подалась вперед, что едва не столкнулась со своим отражением.

— Ах!..

— То-то же, — удовлетворенно сказала мастерица.

Лена ее не услышала. Она впилась в зеркало, она наслаждалась собой. Что лучше — голубыми звездами сияющие глаза? Изящный и строгий, уже совсем не детский овал губ? Гладкая, без единой веснушки кожа? Намерком темнеющий румянец щек? Да можно ли привыкнуть к такому во сне не грезившемуся лицу?! Поверить в него? Все вроде бы то же — и будто кто-то живой водой смыл все ржавое, бесцветное, пухлое...

— Мое. — Лена схватила за щеки.

— Красавица ты моя! — Мягкие пухлые руки нежно прощались по ее волосам. — Про свидание не забудь.

— Ой!

— И приходи через месяц, повторю или что-нибудь лучше придумаем...

Но Лены уже не было в кресле.

По той же, что и прежде, улице она не шла — плыла, летела, и тело было невесомым, и воздух блаженным, и солнце забегало за угол, чтобы лишний раз выскочить навстречу, и тень listвы играла в догонялку, и каждый прохожий, девушка это чувствовала, хотел ее улыбки, и Лена чуть смущенно несла эту улыбку через весь этот огромный, счастливый, прекрасный мир.

У фонтана на площади было так многолюдно, что она слегка растерялась. Перед ней замелькали лица тех, кто ждал, кого ждали, просто гуляющих, ее закружила легкая толчея движения, говора, смеха, ее провожали взглядами, это было ново, волнующе, но, поглощенная нетерпением, она тут же забыла об этом. Она стала у кромки бетонной чаши с прозрачной лазоревой водой и попыталась принять безучастный вид, но ей это не удалось. Впервые она так открыто ждала свидания, впервые стояла так на виду, ей хотелось и сжаться в

комочек, и, наоборот, распрямиться под взглядами. Глазами она искала его сначала ожидающе, потом уже нервно, так как минуты шли, а он все не показывался.

Но это было не так. Он пришел даже раньше назначенного, вначале стоял у кромки того же бассейна, а когда время прошло, не выдержал и в разрез толчеи устремился вокруг места свидания, всюду ища, быть может, затерявшуюся в многолюдстве девушку с милым, единственным в мире лицом, прелестной россыпью золотистых веснушек и ласковым взглядом неярких глаз, от которого вчера так тревожно и сладко замирало сердце. Он дважды прошел вдали, их взгляды дважды соприкоснулись, но и она не узнала его — он тоже, не веря в себя, побывал в биопарикмахерской. Но все еще было впереди. Он продолжал искать, все приближаясь к ней, она смотрела во все глаза, и встречи лицом к лицу была неизбежной. Им еще предстояло разглядеть друг друга и узнать, что же все-таки значит для любви та или иная внешность.

Наступало время сменяющихся, как платье, лиц.

Рисунок И. АЙДАРОВА





Фантастический рассказ

Лэнк шел мимо аквариумов-витрин, пробиваясь сквозь скопище людей, спешащих, фланирующих, топчущихся на месте. Когда-то, вырвавшись из спазматических объятий города, он целый день мчался куда глаза глядят, лишь бы подальше от кишачей людьми бетонной пустыни. Започевал в мотеле. Рухнул на койку обессиленный, не раздеваясь. Казалось, не пройдет и секунды, как сон, вязкий, глухой, засосет в мертвую зыбь беспамятства.

«Спасен, свободен...» — мелькнула блаженная мысль. Кружилась голова, звенело в ушах, словно под водяным прессом, сознание ускользало... И вдруг взрыв, собственный крик: мобиль несется в людскую гущу... Нужно отчаянно выкручивать руль, чтобы объехать, не задавить...

Снова бездна и тот же закольцованный бред. Под утро подумал: «Схожу с ума», и решил: «Будь что будет!» Мобиль

помчался в сон, давя и расшвыривая колесами аморфную массу...

Проснувшись, понял, что так и не обрел свободы, что навсегда прикован к городу — не вырваться, не убежать.

...Сейчас он двигался, как в том страшном бреду, не сворачивая и не сторонясь: его окружали призраки. Призраки-дома, призраки-манекены в витринах, призраки-люди. Ничего вещественного, кроме него самого. Это была дань ностальгии, жажде города, того города, от которого он мечтал избавиться навсегда...

— Вы преступник, Лэнк, — сказал Мартин. — Очень жаль, но это так:

— Какое же преступление я совершил?

— Пока никакого. Но совершите. Обязательно совершите, если не принять меры. В старину сказали бы, что это у вас на роду написано.

— Чуть!

— Отнюдь. Мы проанализировали десять прогностических вариантов, и в каждом из них — убийство!

— Где доказательства, что я совершу его в действительности?

— Их нет, — пожал плечами Мартин. — Да мы и не обязаны предъявлять доказательства. У вас устаревшие представления о правосудии. Поймите, Лэнк, математическое моделирование дает возможность с высокой степенью вероятности предвидеть будущее. Вам предложили ряд тестов. Их результаты вместе с вашими генными тензорами, футурами, паркограммами ввели в компьютер и задали десяток типовых эвристических программ, от экстремальной до асимптотической. И всякий раз компьютер ставил один и тот же диагноз: «убийца»!

— Но разве можно карать за несовершенное преступление? — с отчаянием воскликнул Лэнк.

— Мы никого не караем, — ответил Мартин. — Наша задача не наказывать, а защищать. И мы обязаны защитить человечество от вас, Лэнк.

— Что же со мной будет?

— Землю можно сравнить с кораблем, а живущих на ней с экипажем. В давние времена, обнаружив у матроса признаки проказы, его, дабы спасти других...

— Бросали за борт?

— Нет, высаживали на необитаемый остров.

— Неужели моя болезнь неизлечима?

— Медицина не всесильна, — жестко проговорил Мартин. — Готовьтесь, Лэнк, вам предстоит космическое плавание. И на одной из необитаемых планет...

— Я не выдержу... — простонал Лэнк. — Сойду с ума от одиночества. Это самая жестокая казнь, которую можно придумать. Уж лучше...

— Не унижайтесь, бесполезно!

— Вы палач, мне это ясно и без компьютера!

— Возьмите себя в руки. Вас снабдят всем необходимым. Человечество великодушно и, раз уж так случилось, пойдет на любые заграды, чтобы оправдать...

— Свое собственное преступление по отношению ко мне?
— Не кощунствуйте, Лэнк! — закричал Мартин. — Черт возьми, вы по-прежнему принадлежите к человечеству. Изгнанный еще не вычеркнут из списков. У вас будет все, чего достигло общество, — сокровища науки, культуры, искусства. Распорядитесь ими разумно, и одиночество не окажется вам в тягость!

— А если я не соглашусь?

— Вашего согласия никто не спрашивает!

И вот Лэнк идет по призрачному городу — островку Земли, отделенному от нее тысячей парсеков. Он может не только идти, но и бежать до изнеможения, не покидая при этом замкнутого пространства радиусом около десяти метров — столько ему отведено для жизни. Правда, пространственная сфера способна трансформироваться — по его воле становиться то безмерным клокочущим океаном, то заповедными джунглями, то старинным парком с куртинами тонко пахнущих роз, но чаще всего безликим в своей громадности городом.

Искусственный, напоминающий мираж, хотя и вполне правдоподобный мир всецело принадлежит ему. Лэнк — всемогущий бог этого мира и останется богом до самой смерти. И тогда мир тоже исчезнет. А пока Лэнк может обрушивать молнии, вызывать стихийные бедствия или же создавать по библейским рецептам все, что вздумается. И он трудится в поте лица, творя и разрушая, разрушая и творя...

Лэнк сознавал, что все это лишь беспрестанная, лихорадочная смена декораций, попытка уйти, на сей раз от самого себя, своего прошлого, воспоминаний... Он мог, но не хотел имитировать то конкретное, с чем был связан на Земле. Убедить себя в реальности иллюзий, в вещественности образов, создаваемых в мозгу электроникой, было нетрудно. Однако это значило бы сломиться, капитулировать, признать правоту тех, кто приговорил его к одиночеству, самому стать призраком, фантомом. Лэнк презирал подобие наркотика, пусть безвредное, даже благотворное, но дурманящее почище давно забытых героина или марихуаны...

Именно поэтому он не выходил за рамки лубка, гротеска, оперной условности, предпочитая кажущейся реальности театральные подмостки. Ведь актер во время спектакля не утрачивает своего человеческого «я» и, даже перевоплощаясь, остается самим собой, со своей собственной изжогой или головной болью, которые не оставишь в гардеробной вместе с ненужным реквизитом...

Но в мире, пыль которого Лэнк отряхнул со своих ног, было нечто не поддающееся забвению — женщина. Неразделенная любовь, странная, романтическая, даже нелепая, подходящая скорее пятнадцатилетнему подростку. В память компьютера, синтезирующего иллюзорный мир, не вложили информативного комплекса женщины. Зато в памяти самого Лэнка все связанное с ней саднило нестихающей болью. И дороже этой боли у него ничего не было.

Оставаясь один на один с собой, он воспроизводил в мыслях ее жесты, позы, движения. Звучал глубокий грудной голос, только вот нежные слова предназначались, увы, не ему и лишь обжигали душу. Карие глаза лутились улыбкой, которая тоже была обращена к другому...

Однажды, изменив прежнему решению не воскрешать прошлого, Лэнк попытался перенести любимую в мир иллюзий, но она словно не желала стать фантомом. Лэнк был не властен над нею, как и в прошлом, когда она во плоти и крови проходила мимо, не удостоив взглядом. То, что раз за разом синтезировал компьютер, представляло набор бездарных карикатур, издевательских пародий. Выпестованное памятью отражалось в кривом зеркале...

Это был сизифов труд. В обычных обстоятельствах Лэнк отчаялся бы, отступил. Теперь же у него не оставалось выбора. И он с маниакальным упорством и с терпением профессионального реставратора очищал синтезируемый образ от фальшивых черт.

Шли дни, месяцы. Со статикой удалось справиться. В памяти компьютера хранились уже тысячи голограмм. Тысячи ракурсов, каждый точно кадр мультипликации. Оставалось свести их воедино, подключить динамику, наделить интеллектом, эмоциями.

Лэнк чувствовал себя Пигмалионом, пытающимся вдохнуть жизнь в свое создание — Галатею. И все же был потрясен, когда та мучительно знакомым движением поправила прядь, изучающе взглянула на него. Обрела ли она плоть, либо он сам сделался фантомом? Лэнку было все равно: больше не существовало ни реального мира в зазвездной дали, ни иллюзорного мира, творимого компьютером.

«Хорошо-то как!» — подумал Лэнк. От полноты чувств ему показалось, будто он произнес эти слова вслух, даже прокричал так, что звук голоса достиг раскинувшегося в трехстах метрах моря, и оно откликнулось. Но море безмолвствовало и лишь загадочно переливалось бликами. На противоположном берегу бухты проступали горы. Подножие подчеркивала желтая строчка огней, а на поверхности воды застыли прозрачные суда.

Тишину приближавшейся ночи нарушал хор лягушек. Лэнк с удовольствием его слушал. Лягушки облюбовали прибрежное озеро, в которое впадал ручей. Его обступили разномастные деревья, образуя маленький оазис, словно перенесенный на побережье из сказочной пустыни.

— Как хорошо! — повторил Лэнк.

Он сидел на уютной диким виноградом лоджии и любовался бухтой.

— Вот и миновал этот прекрасный день... — с теплой грустью сказал себе Лэнк. — Но ведь не последний же! А если бы и последний... Главное, что сегодня я счастлив. И здоров. И молод. И жизнь мне улыбнулась...

Из комнаты временами доносился голос Галатеи. Она что-то делала, мурлыкая при этом песенку. Так поет человек на-

едине с собой. Сейчас каждый из них принадлежал себе, но это не имело ничего общего с одиночеством, а тем более с отчуждением. Между ними существовала почти telepatische связь. Они могли сидеть рядом, держась за руки, и молчать. Легкое подрагивание ладони, едва уловимое пожатие, тепло родного тела, биение пульса были для них как бы позывными счастья.

«Оказывается, для счастья нужно совсем мало и вместе с тем очень много, — рассуждал Лэнк. — Некоторые смолodu безошибочно выбирают маяки, ведущие в гавань успеха. И достигают ее заслуженно, по праву. А счастья в ней нет. При расчете курса ошиблись на самую малость и разминулись со счастьем. Меня же занесло ураганом на обломок скалы, но именно здесь я нашел свое счастье — Галатею...»

— Как хорошо... — в третий раз за этот вечер проговорил Лэнк и вдруг ощутил предчувствие беды...

— Родной мой, — сказала Галатея однажды, — со мной творится неладное. Я кажусь себе вымышленной, не существующей в действительности. У меня нет прошлого... Раньше я не задумывалась над этим. Но так ведь не бывает... Не должно быть!

— У меня тоже нет прошлого, — возразил Лэнк. — Зато есть ты. Я люблю тебя. Мне хорошо с тобой.

Она покачала головой.

— Мне тоже. Но нельзя жить одной любовью. Есть же еще что-то в мире?

Галатея все глубже уходила в себя. Она больше не понимала Лэнка вопросами, видимо, поняв, что не получит ответа. Силится найти его сама и не могла...

«Что ей сказать? — мучился Лэнк. — Как объяснить? О ее подлинной жизни ничего не известно. Она была безымянной богиней. Я боялся заговорить с нею. Следил украдкой, протаскивал под окнами... Посчастливилось воспроизвести ее облик. А остальное? Фантазия компьютера? Гениальная фантазия! Ведь сущность Галатея совершенно иная — лучше, чище и беззащитнее. А я-то хорош: копировал внешность и больше ни о чем не думал. Даже не позаботился дать Галатее прошлое...»

Лэнк хотел исправить ошибку, но оказался пикудышным богом: Галатея уже не принадлежала к иллюзорному миру. И тогда он рассказал ей все...

Нет ничего страшнее, чем наблюдать неотвратимое угасание любимого человека, сознавая, что ты бессилен... Все возможное и невозможное сделано. Компьютер работал на пределе, но тщетно... «Ряды не сходятся, задача неразрешима». И теперь эта беспомощная груда микрoкристаллов, изощренно формализованный сверхмозг, лишь искушает: «Начнем все заново, создадим другую Галатею!» Другой не будет, она единственная. Попробовать повторить ее — значит предать.

Лэнк впервые с беспощадной ясностью понял, что любит вовсе не гордячку, приводившую его в смятение на Земле, а совершенно иную женщину, лишь по недоразумению приняв-

ную чужой облик. Он создал Галатею? Нет, это она преобразила его, возвысила до своего душевного величия!

«Неужели Мартин был прав, неужели это предопределено? — в ледящей тоске думал Лэнк. — Десять эвристических программ, и приговор авансом: «Убийца»! «Поймите, математическое моделирование позволяет предвидеть будущее...» И вот будущее стало настоящим. Я — убийца, убийца своего счастья!»

Грохот ракетного двигателя вывел его из оцепенения. Взламывая скорлупу иллюзорного мира, неподалеку в клубах реликтовой пыли, толстым пластом покрывавшей безжизненную планету, опускался космический корабль.

На мгновение Лэнк испытал радость. Но тотчас накатилась новая волна холода. Поздно!

— Поздравляю, дружище! — крикнул запыхавшийся Мартин. — Я так спешил к вам, что, кажется, поставил новый рекорд скорости. Видите ли, последний тест неожиданно дал великолепный результат. Это было жестокое испытание, не спорю. Но какой же вы молодчина... Теперь все позади, вас реабилитировали полностью. Собирайтесь!

Лэнк пристально посмотрел ему в глаза, и Мартин, вздрогнув, отвел взгляд.

— Я остаюсь здесь, — сказал Лэнк спокойно. — Убийце не место среди людей.



Фантастический рассказ

Это тупик, — сказал Ольс. — Битва за долголетие проиграна.

— Вовсе нет, — возразил Клияч. — Успехи геронтологии очевидны. Средняя продолжительность жизни достигла восьмидесяти лет!

— Через полвека будет восемьдесят один, а спустя тысячелетие от силы девяносто.

— Вы так предполагаете?

— Я скучный человек, — бесцветно проговорил Ольс. — Строить предположения не умею. Моя стихия — факты.

— Тогда каким образом...

— Все элементарно: миллиард бит информации и прогноз-компьютер.

— Компьютер не способен предвидеть большой скачок...

— Ох уж мне эти большие скачки! — с неожиданным раздражением перебил Ольс. — Не обманывайте себя. Средняя продолжительность жизни возросла, но не благодаря геронтологии. Просто сведена к минимуму детская смертность. Зато долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, сегодня втрое меньше, чем во времена прадедов. Сократилась дисперсия, разброс индивидуальной продолжительности жизни. Торжествует второй закон термодинамики: выравнивание всех и всяческих потенциалов!

— При чем здесь термодинамика? — поморщился Клинич.

— Я подразумеваю всеобщий характер этого закона. Судите сами: девяносто процентов людей доживают до семидесяти пяти. И всего полпроцента переживают восемьдесят пять. Ну, минимум — заслуга здравоохранения и техники безопасности. А чем объяснить максимум?

Клинич в замешательстве развел руками.

— Я как-то не думал об этом. Но ведь медицина победила рак, исклонила грипп. Даже склероз и сопутствующие ему сердечно-сосудистые заболевания...

— Однако болезни, совсем недавно считавшиеся сравнительно безобидными, принимают угрожающие формы. Коклюш был болезнью младенцев, а теперь косит стариков... Или та же ветрянка...

— Ну, тут просто результат неосторожности, — возразил Клинич. — В свое время ее завезли на Венеру, а оттуда она вернулась...

— Новой чумой? Но почему-то ветрянка не причиняет вреда молодым и сводит в могилу справивших восьмидесятилетие! Заметьте к тому же, — понизил голос Ольс, — что старческие болезни-мутанты встречаются все чаще. Складывается впечатление, что успехи медицины нарушили равновесие, и вот оно восстанавливается на иной основе!

— Мрачная картина. Но не предлагаете же вы поднять белый флаг и сдаться на милость природе?

Лицо Ольса приняло жесткое выражение.

— Природа навязала людям затяжную позиционную войну. Мы незаметно для себя перешли к глухой обороне, однако при этом каждую мало-мальски удачную вылазку выдаем чуть ли не за решающую победу!

— Каков же выход?

— Нужно пересмотреть стратегию. Довольно растрачивать силы на мелочи. Проблема долголетия бесперспективна, давно пора поставить на ней крест. Сколько бы ни прожил человек, все мало! Чем, собственно, триста лет отличаются от восьмидесяти? То и другое — мизер!

— И что же взамен?

— Бессмертие.

Клинич вскрикнул:

— Вы в своем уме, коллега?

— Кто из нас может быть в этом уверен? — пожал плечами Ольс. — Вас шокирует терминология. Вы воспринимаете бессмертие как математическую категорию, родственную понятию «бесконечность». Но, черт возьми, я подразумевал другое. Как объяснить вам... Вы знаете, что такое клиническая смерть? Тогда представьте по аналогии клиническое бессмертие. Именно о нем речь!

Его узнавали всюду по гордой, но несколько странной посадке головы, по отрешенному взгляду (он словно всматривался во что-то недоступное иным взорам), а скорее всего просто по серебристому обручу на лбу.

— Бессмертный! Бессмертный идет, — шелестело за его спиной.

Ему так и не удалось привыкнуть к популярности, которая вначале даже льстила, но потом начала невыносимо раздражать. На него смотрели с болезненным любопытством, как на монстра.

— Бессмертный! Бессмертный идет...

«Я словно поражен проказой... Меня чужаками за то лишь, что переживу всех... Но мое тело по-прежнему бrenно, его ждет физическое уничтожение, а та новая, искусственная плоть станет ли моей плотью?»

— Бессмертный! Бессмертный идет...

Временами он и впрямь чувствовал себя предателем, точно обжора в окружении осужденных на голод. Ему хотелось сорвать со лба серебряный обруч и закричать во весь голос:

— Я такой же, как вы, я с вами!

Полоска металла на его голове воспринималась всеми как символ бессмертия. Для него же она была ненасытным пауком, жадно высасывающим из мозга информацию о каждом вздохе, каждом толчке крови в сосудах, о самом сокровенном и стыдном... Каинова печать.

Он много раз мысленно ломал на куски и втапывал в землю ненавистный обруч.

«Не нужно мне бессмертия! — беззвучно стонал он. — Меня уговорили, уверили, что все ради вас. Я принес жертву, но вы ее не приняли!»

— Бессмертный! Бессмертный идет...

«Что вы понимаете в бессмертии?.. Пережить свою физическую смерть, передать собственное «я» информационному двойнику, который продолжит существование неопределенно долгое время, — такой ли уж завидный удел?»

— Безответственный эксперимент, если не преступный, — бросил Клинич в лицо Ольсу.

— Ну, это уж слишком, — остановил Председатель. — И все

же... Вы понимаете, что наделали, Ольс? Видите матрицу? В ней около пяти миллионов заявок на бессмертие. А сколько еще будет! Можете их удовлетворить?

— Конечно, нет. Меня заинтересовал принцип, и он подтвержден. А массовое производство, конвейер бессмертия — этим пусть займются другие. Не требовали же от супругов Кюри постройки ядерных реакторов.

— Один бессмертный на десять миллиардов живущих... И кто же этот счастливец, окруженный всеобщим вниманием? — поинтересовалась Марта.

— Счастливец? — Ольс натянуто улыбнулся. — Да просто среднестатистический холостяк, отобранный из массы компьютером. Представьте, его пришлось еще уговаривать!

— Кстати, никто не просит бессмертия для себя, — заметил Председатель. — Вот, слушайте... «Мой отец всей своей жизнью заслужил бессмертие...», «Я люблю ее и хочу, чтобы она была бессмертна...», «Прошу о бессмертии для моего учителя...» Что им ответить, Ольс?

— Надо сказать правду. Проводится единичный эксперимент, и до внедрения еще далеко. Но со временем бессмертие станет, как говорится, делом техники.

— Как вы это себе представляете?

— В первую очередь следует обессмертить гениев, их немного. Затем выдающихся людей...

— А остальных?

— Бессмертие для всех — утопия. Да и какую ценность для человечества может составить посредственность?

— И кто же возьмет на себя смелость отказывать в бессмертии? — спросил Председатель.

— Компьютер. Еще в двадцатом веке ввели показатель интеллекта. Если взять его за критерий...

— Но это же ужасно, — не выдержала Марта. — Насильственно разлучать близких людей?

— А смерть не разлучает?

— Создать касту бессмертных, — покачал головой Председатель, — к чему это приведет?

— Бессмертием станут злоупотреблять, — взволнованно проговорил Клинич. — Ради него пойдут на тяжчайшие преступления, будут готовы заложить душу. Общество утратит устойчивость. Но если бы удалось сделать бессмертными всех...

— Увы, — нахмурился Председатель. — в таком случае человечество было бы вообще обречено. Смена поколений — непрерывный стимул развития. Иначе неминуемы застой, деградация, торжество энтропии.

— Этот ваш Бессмертный — законченный эгоист, — не к месту сказал Клинич. — Чувствует себя чуть ли не богом. Взгляд отсутствующий, словно вокруг не люди, а...

— Уж не завидуете ли вы ему? — ахнула Марта.

Клинич поблел.

— Я? Завидую? Впрочем... Неужели вы правы? Тем хуже для меня!

— Для всех нас, — уточнил Председатель.

Пройдя несколько кварталов, он увидел пылающий дом. Пожарные сбивали пламя струями пены.

Женщина рвалась сквозь оцепление.

— Пустите меня, там моя дочь!

— В доме никого не осталось, -- удерживали ее.

Взгляд женщины скрестился со взглядом Бессмертного.

— Будь проклят! — крикнула она, задыхаясь от ненависти. — Бессмертный трус!

Он не ответил. Ступил вперед. Дохнуло жаром.

— Стойте, — крикнул кто-то несмело.

— Это же Бессмертный! — ответили ему.

Сжалось сердце. Но стало вдруг так хорошо и легко, как никогда прежде. Он улыбнулся людям, не скрывая торжества: бремя бессмертия не сломило его! Загем бережно снял с головы серебристый обруч и осторожно положил на землю. А потом, не оглядываясь, шагнул в пылающий дом.

Рисунок И. АЙДАРОВА



Рано утром, когда тени гор еще покрывали главную улицу городка, на крыше конторы «Джебсон коммершл компани» пронзительно завывала сирена.

Опасность пожара существует всегда, и при этом звуке те, кто завтракал, вскочили из-за стола, те, кто брился, торопливо стирали мыльную пену, те, кто спал, хватали первую попавшуюся одежду. И все бежали смотреть, откуда поднимаются первые красноречивые клубы дыма.

Дыма нигде не было.

Сирена еще продолжала надрывно вить, а люди уже тянулись по улицам потоками, словно муравьи из потревоженного жилища. Все потоки стекались к конторе. Там выяснилось, что двери большого сейфа оказались распахнутыми настежь. В одной двери автогеном было прорезано рваное отверстие.

Люди молча переглядывались. Было пятнадцатое число. В сейфе хранилась зарплата, выдаваемая два раза в месяц, деньги привезли накануне из банка округа Айвенго.

Приехал Френк Бернел, директор рудника компании, десятилетски правящий городком Джебсон-Сити, и стал осматривать место происшествия. Ответственность за случившееся лежала на нем, и то, что он обнаружил, вызвало тревогу.

Том Мансон, ночной сторож, валялся на полу задней комнаты и храпел в пьяном сне. Сигнализация, установленная меньше полугода назад, была отключена весьма оригинально, и не оставалось сомнений, что если здесь поработала шайка, то среди взломщиков имелся опытный электрик.

Ральф Несбитт, бухгалтер компании, многозначительно помалкивал. Год назад, когда Бернела назначили директором, он указал ему, что большой сейф устарел. Бернел, стремясь утвердиться в новой должности, не стал расходовать деньги на замену старого, встроенного в стену сейфа, а вместо этого приобрел новейшую сигнализацию и назначил ночного сторожа.

И вот теперь из сейфа было похищено сто тысяч долларов. Бернелу предстояло сообщить об этом в главную контору в Чикаго, и его мучила мысль, что докладная Несбитта, где утверждалось, что старый сейф несложно взломать, хранится в архиве компании.

Перри Мейсон, знаменитый адвокат, быстро вел машину по горной дороге. Он давно собирался съездить на рыбалку. Было уже половина девятого. Присяжные до полуночи не могли вынести вердикт, и это задержало Мейсона.

После процесса Мейсон даже не переоделся. Его рыбацкая одежда, болотные сапоги, удочка и корзина для рыбы лежали в багажнике. Он просидел за рулем всю ночь, и ему не терпелось поскорее доехать к прохладным, поросшим соснами горам.

На повороте в каньон усталые глаза Мейсона резанул яркий красный свет. Посреди дороги была установлена надпись: «СТОЙ — ПОЛИЦИЯ». Возле нее стоял человек с серебряной звездой на рубашке, державший в руках винтовку, рядом с ним полицейский с мотоциклом.

Мейсон остановил машину.

Человек со звездой, помощник шерифа, потребовал:

— Предъявите водительские права. В Джебсон-Сити произошло крупное ограбление.

— Вот как? — сказал Мейсон. — Я проезжал Джебсон-Сити часа два назад, там вроде бы все было тихо.

— Куда вы заезжали потом?

— Останавливался позавтракать в ресторанчике при станции техобслуживания.

— Ваши права.

Мейсон достал права и подал ему.

Помощник шерифа хотел было вернуть их, потом снова взглянул на фамилию.

— Вот это да, — сказал он, — вы Перри Мейсон, известный адвокат по уголовным делам!

— Не по уголовным, — сказал Мейсон, — по судебным. Иногда я защищаю тех, кто обвиняется в преступлении.

— Как вы здесь оказались?

— Еду на рыбалку.

Помощник шерифа недоверчиво оглядел его.

— А почему на вас такой костюм?

— Потому что, — улыбнулся Мейсон, — я не ловлю рыбу.

— Вы же сказали, что едете на рыбалку.

— Я еще собираюсь, — сказал Мейсон, — поспать сегодня ночью. По вашей логике, на мне должна быть пижама.

Помощник шерифа нахмурился. Полицейский рассмеялся и махнул Мейсону рукой, показывая, что можно ехать.

Помощник шерифа кивнул вслед удалявшемуся автомобилю.

— Похоже, у него есть какие-то свежие данные, — сказал он, — только я не могу выявить их в таком разговоре.

— Да нет у него никаких данных, — сказал полицейский.

Помощник шерифа остался в сомнении, и, когда репортер из местной газеты спросил его, нет ли чего-нибудь для хорошего материала, он сказал, что есть.

Вот почему Делла Стрит, доверенная секретарша Мейсона, с удивлением прочла в лос-анджелесских газетах, что Перри Мейсон, знаменитый адвокат, по слухам, будет защищать лицо или лиц, взломавших сейф «Джебсон коммершл компани». Создалось впечатление, будто все решено еще до того, как «клиент» Мейсона был арестован.

— Я-то думала, вы поехали в горы отдохнуть.

— Конечно, отдохнуть. А что такое?

— Газеты утверждают, что вы представляете в суде того, кто ограбил «Джебсон коммершл компани».

— Впервые об этом слышу, — сказал Мейсон. — Джебсон-Сити я проехал еще до того, как ограбление было обнаружено, чуть подальше остановился позавтракать, а потом наткнулся на дорожный пост. И один назойливый помощник шерифа, видимо, счел меня укрывателем.

— Так вот, — сказала Делла Стрит, — арестован некий Харви Л. Корбин, и кажется, не без оснований. Полиция намекает на какую-то таинственную улику, которая до суда будет храниться в секрете.

— Это он и взломал сейф? — спросил Мейсон.

— Полиция считает, что он. У него была судимость. Когда его начальству стало известно о ней, ему велели уезжать из города. Произошло это вечером, накануне ограбления.

— Велели, вот как? — сказал Мейсон.

— Видите ли, других предприятий в этом городке нет и все дома принадлежат компании. Насколько я поняла, жене и дочери Корбина разрешили остаться, пока он не найдет жилья на новом месте, но ему велели уехать немедленно. Вас это не касается, правда?

— Нисколько, — ответил Мейсон, — но я на обратном пути снова поеду через Джебсон-Сити и, возможно, остановлюсь поинтересоваться местными сплетнями.

— Не вздумайте, — предупредила она. — Похоже, этот человек из породы неудачников, ваше отношение к таким людям мне известно.

Что-то в ее голосе насторожило Мейсона.

— Делла, к вам кто-нибудь обращался?

— В известном смысле, да, — ответила она. — Миссис Корбин прочла в газетах, что вы будете защищать ее мужа, и очень обрадовалась. Видимо, она считает, что обвинение против ее мужа состряпано. О судимости она не знала, но она любит его и намерена помочь ему.

— Вы беседовали с ней? — спросил Мейсон.

— Несколько раз. Я старалась разуверить ее. Говорила, что, возможно, это лишь измышления газетчиков. Видите ли, шеф, положение Корбина безнадежно. Полиция изъяла у его жены деньги. Они из тех, что были похищены.

— И у нее ничего не осталось?

— Ничего. Корбин дал ей сорок долларов, их забрали как улику.

— Придется ехать всю ночь, — сказал Мейсон. — Передайте ей, что я буду завтра.

— Этого я и опасалась, — сказала Делла Стрит. — Чего ради вам понадобилось звонить? Ловили бы себе рыбу. Зачем вашей фамилии опять появляться на страницах газет?

Мейсон засмеялся и повесил трубку.

Пол Дрейк, глава детективного агентства, вошел в кабинет Мейсона, сел в большое кресло и сказал:

— Ну и влип ты в историю, Перри.

— В чем дело, Пол? Ты ничего не раскопал в Джебсон-Сити?

— Раскопал, Перри, но не то, что тебе нужно, — объяснил Дрейк.

— То есть?

— Твой клиент виновен.

— Продолжай, — сказал Мейсон.

— Деньги, что он дал жене, похищены из сейфа.

— Откуда это известно?

Дрейк вынул из кармана блокнот.

— Здесь у меня вся картина. Городом Джебсон-Сити правит директор рудника. Там нет никакой частной собственности. Все находится в руках компании.

— Ни одного мелкого предприятия?

Дрейк покачал головой.

— Ни единого, если не считать уборку мусора. В каньоне, в пяти милях от города, живет один старый дурень, некий Джордж Эдди. Владеет свиноводческим ранчо и убирает мусор. Полагают, что у него до сих пор целы первые пять центов, которые он заработал. Он складывает деньги в жестянки и зарывает их. Ближайший банк находится в Айвенго-Сити.

— А по поводу взлома? Грабителям нужно было принести баллон с ацетиленом и...

— Все было взято со склада компании; — ответил Дрейк. И продолжал: — Мансон, ночной сторож, среди ночи обычно прикладывался к фляжке. По его словам, виски разгоняет сон. Конечно, пить на работе не положено, и он скрывал это, но кто-то все же пронюхал. Во фляжку подсыпали снотворного. Мансон выпил свою обычную дозу, заснул и проспал всю ночь.

— Какие улики против Корбина? — спросил Мейсон.

— У него была судимость за взлом. Компания не берет на работу судимых. Корбин скрыл свое прошлое. Френк Бернел, директор рудника, прознал об этом, вызвал Корбина часов в восемь вечера, накануне ограбления, и велел покинуть город. Жене его и дочери он позволил остаться, пока Корбин не снимет жилье на новом месте. Наутро Корбин уехал и оставил жене деньги, оказавшиеся похищенными из сейфа.

— Откуда это известно? — спросил Мейсон.

♦♦

— Вот этого я не знаю, — сказал Дрейк. — Бернел очень изворотлив и, говорят, может доказать, что те деньги похищены.

Сделав паузу, Дрейк продолжал:

— Ближайший банк находится в Айвенго-Сити, поэтому зарплату на руднике выплачивают только дважды в месяц. Ральф Несбитт, бухгалтер, требовал установить новый сейф. Бернел не пожелал идти на расходы. Теперь их обоих вызывают в Чикаго для объяснений. Ходят слухи, что Бернела могут снять, а директором сделать Несбитта. Некоторые члены правления недовольны Бернелом, и этот случай им на руку. Они отыскивали докладную, где Несбитт писал, что старый сейф ненадежен. Бернел не придал значения этой докладной.

Дрейк вздохнул и спросил:

— Когда суд, Перри?

— Предварительное слушание дела состоится в пятницу утром. Там я выясню, что у них имеется против Корбина.

— Будь начеку, — предупредил Пол Дрейк. — Тебе там представляется западня. Прокурор заготовил какой-то сюрприз, чтобы уложить тебя на лопатки.

Несмотря на большой опыт, прокурор округа Айвенго Вернон Флешер заметно нервничал перед поединком с Перри Мейсоном. Однако под нервозностью таилась скрытая уверенность.

Судья Хесуэл, чувствуя на себе взгляды публики, держался и отдавал распоряжения с присущей ему высокомерностью.

Но больше всего раздражало Мейсона отношение зрителей. Он ощущал, что они видят в нем не адвоката, защитника интересов клиента, а злого юридического чародея.

Вернон Флешер не стал приберегать свой сюрприз для эффектной концовки. Он пустил его в ход, едва начался процесс.

Френк Бернел, вызванный в качестве свидетеля, описал местоположение сейфа, опознал его на фотоснимках и опешил, когда прокурор резко спросил:

— У вас были основания полагать, что сейф ненадежен?

— Да, сэр.

— Указывал вам на это ваш сослуживец Ральф Несбитт?

— Да, сэр.

— Что же вы предприняли?

— Вы намерены, — спросил не без удивления Мейсон, — устроить своему свидетелю перекрестный допрос?

— Пусть он ответит, и увидите, — угрюмо ответил Флешер.

— Что ж, отвечайте, — сказал Мейсон Бернелу.

Бернел уселся поудобнее.

— Я принял некоторые меры, — сказал он, — чтобы обеспечить сохранность денег и избежать расходов на замену старого сейфа новым.

— Какие?

— Я нанял специального ночного сторожа, установил новейшую сигнализацию, условился с работниками банка округа Айвенго, что они будут записывать номера всех двадцатидолларовых ассигнаций, отправляемых к нам.

От неожиданности Мейсон резко выпрямился.

Флешер поглядел на него со злорадным торжеством.

— Вы хотите заявить суду, мистер Бернел, — самодовольно сказал он, — что у вас есть номера ассигнаций, доставленных к пятнадцатому числу?

— Да, сэр. Разумеется, не в с е х. Это заняло бы слишком много времени, но у меня есть все номера двадцаток.

— Кто записывал их? — спросил прокурор.

— Банк.

— Этот список у вас при себе?

— Да, сэр. — Бернел предъявил список. — Я полагал, — сказал он, холодно глянув на Несбитта, — что эти меры обойдутся дешевле нового сейфа.

— Предлагаю приобщить этот список к делу в качестве вещественного доказательства, — сказал Флешер.

— Минутку, — вмешался Мейсон. — У меня есть несколько вопросов. Мистер Бернел, вы говорите, что номера записаны не вашим почерком?

— Да, сэр.

— Вам известно, чей это почерк?

— Заместителя главного кассира национального банка Ай-венго.

— Ну, хорошо, — сказал Флешер. — Придется потрудиться, раз уж так надо. Покиньте свидетельское место, мистер Бернел, я вызову мистера Риди.

Гарри Риди, заместитель главного кассира, взглянув на список номеров, опознал свой почерк. Он заявил, что, переписав номера двадцатидолларовых ассигнаций, запечатал список в конверт и отправил вместе с деньгами.

— Приступайте к перекрестному допросу, — сказал Флешер Мейсону.

Мейсон просмотрел список.

— Все номера записаны вашим почерком? — спросил он Риди.

— Да, сэр.

— Вы лично списывали номера с ассигнаций?

— Нет, сэр. У меня было два помощника. Один зачитывал номера, другой слывал их с моими записями.

— Сумма зарплаты составляет ровно по сто тысяч долларов дважды в месяц?

— Совершенно верно. Эту меру мы применяем с тех пор, как мистер Бернел стал директором. Переписываем ассигнации мы не в порядке номеров. Серийные номера просто зачитываются и записываются. Если ограбления не произойдет, ничего больше не требуется. Если произойдет ограбление, мы можем переписать номера по порядку.

— Эти номера записаны вашим почерком — все до единого?

— Да, сэр. Более того, обратите внимание, что внизу каждой страницы я поставил свои инициалы.

— У меня все, — сказал Мейсон.

— Я еще раз предлагаю приобщить этот список к делу, — заявил Флешер.

— Предложение принято, — распорядился судья.

— Следующий мой свидетель — Чарльз Освальд, шериф, — объявил прокурор.

Шериф, высокий, тощий человек со спокойными манерами, занял свидетельское место.

— Знакомы ли вы с Харви Корбином, обвиняемым по этому делу? — спросил прокурор.

— Да.

— Знакомы ли вы с его женой?

— Да, сэр.

— Был ли у вас какой-нибудь разговор с миссис Корбин пятнадцатого числа сего месяца, в день, когда произошло ограбление?

— Да, сэр. Был.

— Вы спрашивали, что делал ее муж накануне вечером?

— Одну минутку, — вмешался Мейсон. — Я протестую на том основании, что никакой разговор шерифа с миссис Корбин нельзя обратить против обвиняемого; более того, в этом штате жена не имеет права давать показания против мужа. Поэтому любое утверждение, исходящее от нее, будет косвенным нарушением данного правила. Кроме того, я протестую на том основании, что ответ свидетеля будет основан на слухах.

Судья Хесуэл изобразил глубокую задумчивость, потом изрек:

— По-моему, мистер Мейсон прав.

— Я сформулирую вопрос так, мистер шериф, — сказал прокурор. — Брали вы утром пятнадцатого числа у миссис Корбин какие-нибудь деньги?

— Протестую, — заявил Мейсон. — Вопрос несущественный, неправомерный и не относящийся к делу.

— Ваша честь, — раздраженно обратился Флешер к судье, — в этом самая суть. Мы хотим показать, что две из похищенных двадцаток находились у миссис Корбин.

— Если обвинение не сможет доказать, что деньги были даны миссис Корбин ее мужем, это показание неприемлемо, — сказал Мейсон.

— В том-то и дело, — сказал Флешер. — Эти деньги были даны ей обвиняемым.

— Откуда вам это известно? — спросил Мейсон.

— Так она сказала шерифу.

— Это показание с чужих слов, — отрезал Мейсон.

Судья Хесуэл заерзал в кресле.

— Кажется, мы оказались в странном положении. Желательно, чтобы заявление свидетеля, и я полагаю, что заявление шерифа не может быть принято.

— Хорошо, — с отчаянием сказал Флешер. — В этом штате, ваша честь, существует право общей собственности. Деньги находились у миссис Корбин. Поскольку она является женой обвиняемого, они были их общей собственностью. Следовательно, отчасти и его собственностью.

— Ну что ж, — сказал судья. — Кажется, я могу согласиться с вами. Предъявите двадцатидолларовые ассигнации. Протест защиты отклонен.

— Предъявите ассигнации, шериф, — торжествующе сказал Флешер.

Деньги были предъявлены и приняты в качестве улики.

— Приступайте к перекрестному допросу, — отрывисто сказал Флешер.

— К этому свидетелю у меня вопросов нет, — сказал Мейсон, — но есть несколько вопросов к мистеру Бернелу. Вы отозвали его со свидетельского места, чтобы допросить другого свидетеля, и у меня не было возможности провести перекрестный допрос.

— Прошу прощения, — сказал Флешер. — Мистер Бернел, вернитесь на свидетельское место.

С приобщением двадцаток к делу в его голосе появились злорадные нотки.

— Предъявленный вами список сделан на бумаге национального банка Айвенго? — спросил Мейсон Бернела.

— Совершенно верно. Да, сэр.

— Он занимает несколько страниц и в конце его стоит подпись заместителя главного кассира?

— Да, сэр.

— И на каждой странице проставлены его инициалы?

— Да, сэр.

— В этом и заключался ваш проект обезопасить компанию от ограбления?

— Не обезопасить, мистер Мейсон, а помочь обнаружить деньги, если ограбление произойдет.

— Это и был ваш ответ на претензии мистера Несбитта, что сейф устаревшей конструкции?

— Да, отчасти. Надо сказать, что претензии мистера Несбитта не обсуждались до моего назначения на пост директора. Я чувствовал, что он пытался мешать мне, представляя дело так, будто при моем управлении прибыль оказывается меньше ожидаемой. — Бернел сжал губы, потом добавил: — Полагаю, мистер Несбитт рассчитывал, что директором назначат его, но был разочарован. Видимо, он все еще не теряет надежды занять эту должность.

Сидевший в зале Ральф Несбитт свирепо смотрел на Бернела.

— Был у вас вечером четырнадцатого числа разговор с обвиняемым? — спросил Мейсон свидетеля.

— Да, сэр. Был.

— И вы сказали ему, что по веским, на ваш взгляд, причинам увольняете его и требуете немедленно выехать из города?

— Да, сэр. Сказал.

— И выплатили зарплату наличными?

— Мистер Несбитт выплатил ему в моем присутствии, взяв деньги из отделения для мелких купюр.

— А не могли быть выданы Корбину эти двадцатидолларовые банкноты вместе с зарплатой?

Бернел покачал головой.

— Такая мысль приходила мне в голову, — сказал он, — но это невозможно. Деньги мы получаем из банка в опечатанном мешке, и он еще не был вскрыт. Эти банкноты находились в нем.

— А список номеров?

— В запечатанном конверте. Деньги были положены в сейф. Список я запер в ящик своего стола.

— Вы готовы присягнуть, что ни вы, ни мистер Несбитт не имели доступа к этим банкнотам вечером четырнадцатого числа?

— Готов.

— Это все, — сказал Мейсон. — Вопросов больше не имею.

— Теперь прошу на свидетельское место мистера Несбитта, — сказал прокурор. — Я хочу уточнить время всех этих событий, ваша честь.

— Не возражаю, — произнес судья. — Мистер Несбитт, пройдите.

Ральф Несбитт ответил на обычные предварительные вопросы и занял свидетельское место.

— Присутствовали вы при разговоре между обвиняемым Харви Корбином и Френком Бернелом четырнадцатого числа сего месяца?

— Да, сэр.

— В какое время происходил разговор?

— Около восьми вечера.

— Не вдаваясь в подробности разговора, сводился ли он к тому, что обвиняемый уволен и должен уехать из города?

— Да, сэр.

— И ему были выплачены причитающиеся деньги?

— Да, сэр. Наличными. Доставал деньги из сейфа я сам.

— Где тогда находились привезенные деньги?

— В одном из отделений сейфа, в запечатанном мешке. Единственный ключ от этого отделения находился у меня. Раннее днем я ездил в Айвенго-Сити, получил там мешок с деньгами и конверт со списком номеров. Мешок запер в сейф я лично.

— А список?

— Мистер Бернел замкнул его в ящик своего стола.

— Приступайте к перекрестному допросу, — сказал Флешер.

— Вопросов не имею, — ответил Мейсон.

— Мы выиграли это дело, ваша честь, — заявил Флешер.

— Можно устроить небольшой перерыв? — спросил Мейсон судью.

— Не возражаю, — согласился Хесуэл. — Только короткий.

Мейсон подошел к Полу Дрейку и Делле Стрит.

— Вот видишь, — сказал Дрейк. — Против доказательств не попрешь, Перри.

— Вы не станете вызывать обвиняемого на свидетельское место? — спросила Делла Стрит.

Мейсон покачал головой.

— Это было бы губительно. У него уже есть судимость. А если одна сторона при прямом допросе спрашивает о части разговора, другая вправе спросить обо всем разговоре. При увольнении Корбина разговор шел о том, что он скрыл свое прошлое. И я не сомневаюсь, что скрыл.

— Он и теперь не говорит правды, — сказал Дрейк. — Это дело ты проиграл. По-моему, тебе нужно подумать, какую сделку о признании удастся заключить с Флешером.

— Очевидно, никакой, — сказал Мейсон. — Флешер хочет прославиться, одержав надо мной верх... минутку, Пол. Есть идея.

Мейсон резко отошел, встал спиной к переполненному залу и задумался.

— Вы готовы? — спросил судья.

Мейсон повернулся.

— Вполне готов, ваша честь. Мне нужно вызвать одного свидетеля. Прошу выписать ему повестку *ducem tecum*¹. Необходимо, чтобы он представил суду документы, находящиеся в его владении.

— Кто этот свидетель и что это за документы? — спросил судья.

Мейсон торопливо подошел к Дрейку.

— Как фамилия предпринимателя, что убирает мусор? — громко спросил он. — Того типа, что не истратил своих первых пяти центов?

— Джордж Эдди.

Адвокат повернулся к судье.

— Свидетеля этого зовут Джордж Эдди, а документами являются все двадцатидолларовые ассигнации, полученные им за последние шестьдесят дней.

— Ваша честь, — запротестовал Флешер, — это возмутительно. Это профанация правосудия. Это насмешка над судом.

— Заверяю вас, ваша честь, что названного свидетеля и названные документы я считаю существенными. Если необходимо, готов подтвердить это под присягой. Как адвокат заявляю, что, если суд откажется отправить ему повестку, это явится нарушением процессуальных прав обвиняемого.

— Я выдам повестку, — брюзгливо сказал судья Хесуэл, — и для вашего же блага, мистер Мейсон, его показания должны будут относиться к делу.

Джордж Эдди, небритый и оцетинившийся от негодования, поднял правую руку и произнес слова присяги. Потом злобно посмотрел на Перри Мейсона.

— Мистер Эдди, — спросил Мейсон, — вами заключен контракт на уборку мусора в Джебсон-Сити?

— Да.

— Давно вы убираете здесь мусор?

— Уже шестой год, и хочу сказать вам...

Судья Хесуэл постучал молоточком.

— Свидетель должен отвечать на вопросы и не вставлять никаких замечаний.

— Я буду вставлять все, что сочту нужным, — огрызнулся мусорщик.

— Вот как? — сказал судья. — Вы хотите оказаться в тюрьме за неуважение к суду, мистер Эдди?

¹ Латинский термин, означающий, что свидетель обязан предъявить суду имеющиеся у него документы.

— В тюрьму я не хочу, только...

— Тогда не забывайте о должном почтении, — сказал судья. — Сядьте и отвечайте на вопросы. Это законный суд. Вы присутствуете на процессе как гражданин, а я как судья, и мне полагается следить, чтобы должное уважение соблюдалось.

Судья с минуту гневно смотрел на свидетеля, и в зале стояла тишина.

— Хорошо, продолжайте, мистер Мейсон, — сказал Хесуэл.

— Помещали вы какие-нибудь деньги в банк в течение тридцати дней, предшествующих пятнадцатому числу сего месяца?

— Нет.

— У вас при себе все двадцатидолларовые банкноты, полученные вами за последние шестьдесят дней?

— Да, меня заставили взять их с собой, а это все равно что пригласить какого-нибудь проходимца прийти, ограбить меня и...

Судья Хесуэл застучал молоточком.

— Если свидетель еще позволит себе подобные замечания, я вынесу приговор за неуважение к суду. Достаньте свои банкноты, мистер Эдди, и положите на стол секретаря.

Эдди, бормоча что-то под нос, с размаху выложил сверток двадцаток перед секретарем.

— А теперь, — сказал Мейсон, — мне нужна небольшая помощь. Я хотел бы, чтобы секретарь суда и моя секретарша мисс Делла Стрит помогли мне сверить номера этих банкнот. Я выберу несколько наугад.

Мейсон взял три банкнота и сказал:

— Прошу моих помощников просмотреть список номеров, приобщенный к делу. У меня в руке двадцатидолларовый банкнот за номером 07083274А. Есть этот номер в списке? Следующий номер 07579190А. Имеется в списке какой-нибудь из этих номеров?

В зале воцарилась тишина. Неожиданно Делла Стрит сказала:

— Да, один есть — номер 07579190А. На восьмой странице.

— Что? — воскликнул прокурор.

— Все правильно, — улыбнулся Мейсон. — Итак, если дело заведено против человека лишь за то, что у него оказались деньги, похищенные пятнадцатого числа сего месяца, то ваше ведомство должно предъявить обвинение и этому свидетелю, Джорджу Эдди, мистер прокурор.

Эдди подскочил и затряс кулаком перед лицом Мейсона.

— Трепло негодное! — заорал он. — Все эти деньги я получил до пятнадцатого. Кассир выдал мне двадцатки, потому что я люблю крупные купюры. Я закапываю их в жестянках и на каждой ставлю дату.

— Вот список, — сказал Мейсон. — Проверьте сами.

Наступило напряженное молчание, судья и зрители ждали.

— Кажется, я ничего не понимаю, мистер Мейсон, — сказал через минуту судья Хесуэл.

— По-моему, все очень просто, — сказал Мейсон. — Теперь я предлагаю устроить часовой перерыв и сверить с этим списком остальные банкноты. Полагаю, что прокурор будет удивлен.

Он сел и стал складывать бумаги в портфель.

Делла Стрит, Пол Дрейк и Перри Мейсон сидели в вестибюле отеля «Айвенго».

— Ну что же вы молчите? — нетерпеливо спросила Делла Стрит. — Или нам взять вас за ноги и разорвать? Как могли у мусорщика...

— Минутку, — сказал Мейсон. — Кажется, сейчас мы получим результаты. Сюда идут достопочтенный прокурор Вернон Флешер и судья Хесуэл.

Подойдя к группе Мейсона, они оба сухо раскланялись.

Мейсон встал.

Судья Хесуэл заговорил своим излюбленным судейским тоном:

— Произошло чрезвычайное прискорбное событие. Кажется, мистер Френк Бернел... э-э-э...

— Где-то задержался, — сказал Вернон Флешер.

— Скрылся, — сказал судья Хесуэл. — Его нигде нет.

— Этого я и ожидал, — сказал Мейсон.

— Будьте любезны сказать, какое давление оказали вы на мистера Бернела, что он...

— Охотно, судья, — сказал Мейсон. — Единственное давление, оказанное с моей стороны, — это перекрестный допрос.

— Вы знали, что даты в этих списках оказались перепутаны?

— Никакой путаницы не было. Я уверен, что, когда Бернела арестуют, вы обнаружите, что это умышленная фальсификация. Он не обеспечивал ожидаемой прибыли и знал, что его собираются уволить. Сто тысяч наличными были нужны ему позарез. Видимо, он уже давно планировал это ограбление, точнее, присвоение денег. Он проведаль о судимости Корбина. Он организовал эти списки номеров. Он установил сигнализацию и, естественно, знал, как ее отключить. Он нанял сторожа, зная, что тот любит выпить. Оставалось только выбрать подходящее время. Уволив Корбина, он подsunул ему купюры, которые значились на восьмой странице списка от первого числа этого месяца.

Затем он вынул восьмую страницу из списка от пятнадцатого числа, вложил на ее место страницу от первого и предъявил список полиции. Все очень просто.

Потом он подсыпал снотворного в виски сторожу, взял автоматный аппарат, прорезал дверь сейфа и похитил все деньги.

— Можно поинтересоваться, как вы узнали все это? — требовательно спросил судья Хесуэл.

— Конечно, — ответил Мейсон. — Мой клиент сказал, что получил эти деньги из рук Несбитта, который вынул их из отделения для мелких купюр. То же самое он говорил шерифу. И единственным, кто поверил ему, оказался я. Иногда, ваша честь, доверие к человеку бывает оправдано, даже если он и совершил в прошлом ошибку. Предположив, что мой клиент невиновен, я решил, что ограбление совершили Бернел или Несбитт. Потом понял, что только у Бернела был доступ к предыдущему списку.

Как служащий, Бернел получал деньги первого числа. Он просмотрел номера двадцаток в своем конверте и обнаружил, что все они значатся на восьмой странице списка от первого числа.

Ему оставалось только забрать из отделения для мелких купюр все двадчатки и заменить их теми, что были в его конверте, потом вызвать Корбина и уволить его. Ловушка захлопнулась.

Я дал ему понять, что знаю, в чем дело, когда вызвал в суд Эдди и доказал свою точку зрения. Потом я попросил устроить перерыв. И тем самым предоставил Бернелу возможность удрать. Видите ли, бегство можно рассматривать как подтверждение вины. Это профессиональная услуга прокурору. Она может ему, когда Бернел будет арестован.

Перевел с английского Дмитрий ВОЗНЯКЕВИЧ

Рисунок В. ЧИЖИКОВА

На I и IV страницах обложки рисунок Ю. МАКАРОВА к роману В. Щербакова «Летучие зарницы».

На II странице обложки рисунок И. АЙДАРОВА к рассказу А. Плонского «Бремя бессмертия».

На III странице обложки рисунок В. ЧИЖИКОВА к рассказу Эрла Стенли Гарднера «Рассерженный свидетель».

Под редакцией А. ПОЛЕЩУКА и В. РЫБИНА

Редактор выпуска Е. КУЗЬМИН

Художественный редактор Т. ПРОКУДИНА

Технический редактор А. БУГРОВА

**Адрес редакции: 125015, Москва, Новодмитровская ул., 5а
Тел. 285-80-10, 285-88-84.**

Сдано в набор 14.11.84. Подписано в печать 24.12.84. А15180. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 7,56. Уч.-изд. л. 10,1. Тираж 275 000 экз. Цена 60 коп. Заказ 2146.

Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

«Иснатель», 1985, № 1, 1—128, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».



ИСКАТЕЛЬ

Владимир ЩЕРБАКОВ
Дмитрий БИЛЕНКИН
Александр ПЛОНСКИЙ
Эрл Стенли ГАРДНЕР

Цена 60 коп.

